

нако и из Харькова, и из Киева я получил категорические отказы. Не была успешной и моя попытка поступить в Варшавский университет.

Я уже начал терять всякую надежду на продолжение учебы. Моя отсрочка по отбыванию воинской повинности заканчивалась 1 октября, и к этому сроку нужно было либо поступить в университет, либо явиться в казармы и совсем отказаться от мысли об окончании начатого образования. Спасение пришло от московских друзей, посоветовавших мне попытаться поступить в Дерпте (Тарту, Юрьеве). Однако на дорогу до Прибалтики требовалась довольно большая сумма денег, которой у отца не было. Чтобы изыскать средства добраться до Дерпта, мне пришлось расстаться со своей золотой медалью, которую я получил по окончании гимназии. Наконец родители собрали для меня все необходимое, и с их благословением и добрыми напутствиями я отправился в новый для меня мир.

В Дерптском (Юрьевском) университете

Иные впечатления от новой, незнакомой обстановки не стираются в нашей памяти, не тускнеют и через многие десятки лет последующей жизни. Так сейчас, через 70 лет, живо встают передо мною впечатления от вида из окна железнодорожного вагона, когда в сентябре 1890 г. я впервые подъезжал к Тарту, тогдашнему Дерпту.

Вечерело. По небу низко проносились тучи. В разрывах между ними временами открывалась синева неба и светило склонявшееся к горизонту солнце. Осенний вид полей Прибалтики для меня был новым и казался совершенно необычным. На Украине, откуда я ехал, где родился и прожил всю предшествующую жизнь, не только яровые (ячмень, овес), но и озимые (рожь, пшеница) в эту осеннюю пору давно уже были убраны, а здесь на хорошо возделанных полях густой стеной зеленел овёс, целые участки были покрыты сочным, тучным клевером. Проходившие местами дороги были не широкие, привычные моему глазу украинские «шляхи», а какие-то аллеи, обсаженные подстриженными липами. Все создавало какое-то новое впечатление, будило во мне чувство чего-то чуждого. Но вот и конец путешествию. Поезд пришел в Дерпт. Без всяких предместий начался город у самого вокзала. Это впечатление чего-то чуждого, чего-то оторванного от всей моей предыдущей жизни продолжалось у меня и в последующие дни и в самом Дерпте.

Старое университетское здание — массивное и какое-то ординарное, с небольшой канцелярией, в которой всех и по всем вопросам принимал Herr Secretar Bokownev — секретарь Боковнев, говоривший по-немецки, но иногда отвечавший и по-русски. Он сразу же принял от меня заявление и все документы и сказал, что мне нет необходимости обращаться ни к ректору, ни к проректору, а нужно просто ждать: он, Боковнев, пошлет в Московский университет запрос обо мне. Когда получит на запрос ответ, тогда определится дальнейшее положение. Так мне и осталось неясным, что же мне делать — устраиваться ли, или собираться в обратный путь?

Случайно познакомился я с одним русскоязычным студентом-медиком Германом из Саратова. Он посоветовал снять временно комнату в доме, где живет и он. Его совету я последовал, и был очень доволен дешевой комнатой в деревянном доме на одной из окраинных улиц. По совету Германа обедать я пошел в русское студенческое общество «Конкордия». Сам Герман уже был второй год в Дерптском университете. Это был очень культурный, скромный и симпатичный человек. В «Конкордии» я встретил много таких же, как я, потерпевших крушение в разных университетах и приехавших в Дерпт, как в последнее убежище. Все они были далеки от безнадежного уныния. В университет в Дерпте, услышал я в «Конкордии», принимают даже вернувшихся из политической ссылки. Одним словом, моё настроение поднялось.

Прошло недели две, прежде чем секретарь Боковнев получил ответ из Московского университета. Его ни в коей мере не интересовало, по какой категории я был удалён. Его вполне удовлетворило подтверждение, что я окончил гимназию с золотой медалью, что в первом же семестре в Московском университете получил зачеты по анатомии, химии и пр. Он сказал, чтобы я внёс плату и назначил мне день для имматрикуляции. Плата тотчас же была внесена. Матрикулы, в виде большого пергаментного листа с латинским текстом, в котором значилось, что я (имярек), обещаю держаться в стороне от политики и вести себя достойно и честно, что взамен этого мне предоставляется университетом охрана законами академической свободы. Подтверждением сего торжественного обещания было пожатие руки ректора.

Имея матрикул, я без проволочек, всё через того же Боковнева, послал в воинское присутствие необходимую справку об отсрочке призыва до окончания университетского образования. Книжку для записи на избранные мною для слушания лекции, как и все вообще формальности по медицинскому факультету, проделаны были у одного и того же для всего факультета педеля, почтенного человека с окладистой бородой, оформлявшего подписку на лекции. В *Beleg Buch* (книжка для записи на лекции) вкладывалась дополнительная трёхрублевая ассигнация, которую он перекладывал к себе в карман, и все дело заканчивалось. «*Was abgemacht — das ist gut*», — произносил он. Это значило, что всё в порядке.

Когда я вспоминаю, как просто и быстро, без всякой волокиты и направлений от одного стола к другому, из одной канцелярии в другую завершилась вся канцелярская процедура в старом Дерптском университете, я думаю, зачем же раздувают административные штаты наших университетов? Зачем изнемогают и приходят в отчаяние от ненужной потери времени на заполнение идиотских, никому не нужных анкет о родителях и дедах у нас устремляющиеся туда, где «науки юношей питают», когда можно так просто обойтись без всей этой бумажной сутолоки и без мучительной египетской казни заполнения анкет и хождений по мукам в ректоратах и деканатах.

Я стал усердно посещать лекции по физике профессора Артура фон Эттингена, прекрасного лектора, говорившего настолько отчётливо и выразительно, что я очень скоро научился понимать его немецкую речь; при том же своё изложение он сопровождал непрерывно расчетами и схемами,

которые чётко набрасывал на доске, а все приборы, опыты и испытания, о которых он говорил, весьма удачно и без проволочек и осечек демонстрировались при содействии его помощника.

Несколько труднее я овладел пониманием немецкой речи профессора Юлиуса фон Кенеля, читавшего зоологию и сравнительную физиологию и анатомию животных. Но благодаря усвоенному мною в Нежинской гимназии от Абрамова способу не переводить, а стараться понять и записать по-немецки, уже на другой месяц я его вполне понимал. И у меня вызывали удивление жалобы товарищей из числа русских студентов, что и через год, а не то, что через месяц, они не понимают немецкие лекции. А всё ведь потому, что они привыкли иностранные слова, чтобы их понимать, непременно переводить сначала на русский язык, а не просто схватывать смысл их из контекста немецкой речи. Конечно, своё значение имело то, что к лекциям я готовился добросовестно по рекомендованным немецким учебникам. Это также облегчало понимание живой немецкой речи профессоров. Разумеется, от хорошего понимания изложения научного предмета на лекции ещё далеко до сколько-нибудь удовлетворительного понимания обычной разговорной речи. Ещё дальше — до возможности самому говорить на чужом языке. В первые месяцы, когда я старался научиться понимать немецкую речь, я поселился в доме, где иной речи, кроме немецкой, не было слышно. Ежедневно прочитывал дерптскую немецкую газету, а для овладения произношением — с первой же недели стал давать уроки русского языка взамен обучения меня немецкому языку. Ежедневные разговорные часы взаимного обучения языкам мне удалось получить довольно легко.

Начавшееся регулярное посещение лекций не мешало мне ежедневно посещать «Конкордию» для того, чтобы там обедать и проводить два-три часа за чтением газет, прежде всего «Русских ведомостей». К ежедневному чтению «Русских ведомостей» выработалась у меня привычка еще с третьего класса гимназии. Там же, в «Конкордии», просматривались новые книжки журналов. Завязывалось знакомство с вновь приехавшими в Дерпт из русских университетов в надежде попасть в Дерптский университет. В «Конкордии» всегда былолюдно и довольно шумно. Массовым составом её посетителей были студенты Ветеринарного института. Преподавание в нем шло уже на русском языке гораздо раньше, чем русификация коснулась Дерптского университета. Принимались в Ветеринарный институт не только окончившие полный курс классических гимназий, но и реалисты, и окончившие духовную семинарию. По существу, для большинства приезжавших из России студентов Ветеринарного института и Дерптского университета, «Конкордия» была не столько литературно-научным обществом, сколько потребительским кооперативом. Но в составе Правления «Конкордии» было несколько коренных устроителей, придававших большое значение всестороннему развитию деятельности «Конкордии», как школы общественной деятельности по поднятию культуры и по общественному воспитанию студенчества. Они несли большую и тяжёлую организационную работу по поддержанию жизни «Конкордии». В составе этого коренного ядра «Конкордии» были студенты-ветеринары Кондаков, Михин и студент-медик, уже тогда выдававшийся как хирург — С. И. Ростовцев, и др.

Слишком часты были в «Конкордии» всякого рода сходки: то для решения хозяйственных вопросов о столовой, о ценах на обеды и пр., то для разбора дел, суда чести по поводу столкновений между студентами. Эти сходки вносили много шума и сутолоки и, разумеется, были бы совершенно излишни, если бы были выбраны постоянные небольшие комиссии — хозяйственная, юридическая, в дополнение к литературно-библиотечной.

Эта сутолочная, шумная жизнь отнимала совершенно бесполезно немало времени и отвлекала молодых студентов от усидчивой учебной работы. Такое мнение сложилось у меня в первые недели пребывания в Дерпте. В это время я познакомился, обедая в «Конкордии», с одним, ожидавшим своего оформления в университет, приехавшим из Киева немолодым студентом-филологом Евгением Викторовичем Дегеном. Он производил впечатление несколько необычное своей серьёзностью, постоянной выдержанностью. В общении он был весьма немногословен, но располагал к себе своею простотой и искренностью. Несколько раз он заходил ко мне. Его сильно беспокоили затруднения, которые ставились ответами из Киева к его приёму в Дерптский университет. Он уже собирался уезжать в Гельсингфорс, чтобы попытаться там устроиться в университете, но Дерптский филологический факультет помог ему преодолеть встретившиеся препятствия к зачислению в студенты в Дерпте. К нему скоро приехала из Киева его жена — Анна Николаевна Деген-Ковалевская, оказавшая в дальнейшем несомненное влияние на оживление общественной жизни среди немногочисленной в то время в Дерпте русской интеллигенции.

Ещё в первые дни моей дерптской жизни оригинально началось моё знакомство с Михаилом Петровичем Косачем. Поздней осенью он приехал из Киева, где за участие в студенческом общественном движении был уволен из университета. Познакомились мы в читальне. После обеда в «Конкордии» он рассказывал по дороге много интересного о жизни студенчества в Киеве. Так незаметно дошли мы до моего жилья. Увлечённый рассказом, он вошёл ко мне, заинтересовался моими книгами, постепенно углубился в их перелистывание и чтение. Вечером я приготовил чай. После чая было уже поздно идти в незнакомом городе искать квартиру того киевского товарища, у которого он оставил свой багаж. Я постелил ему, как умел, на диване. Утром рано я ушёл, чтобы не опоздать на лекцию к восьми утра. Когда после всех лекций, под вечер, я вернулся к себе в комнату, я увидел там Михаила Петровича, погружённого в какую-то письменную работу. Так он остался жить вдвоём со мною в комнате несколько дней, пока не устроился вести какую-то работу по физике у профессора Эттингена. Он был специалистом по физике и позднее, после окончания в Дерпте, был приглашён доцентом и был короткое время профессором физики в Харькове. К несчастью, он рано умер от лёгочной болезни. У него был неисчерпаемый запас захватывающих по своему интересу рассказов, преимущественно из его собственных наблюдений украинской сельской жизни. По-видимому, у него была замечательная память. Украинскую прозу и стихи он мог говорить без конца наизусть, причем языком украинским владел в совершенстве. (Его мать — украинская писательница Олена Пчілка, а старшая сестра — известная украинская поэтесса Леся Украинка). Во весь пе-

риод жизни в Дерпте Михаил Петрович Косач был близким и неизменным другом всего нашего кружка.

В первую зиму моей жизни в Дерпте, я помню, на меня произвела большое впечатление традиционная встреча Нового года в тогдашнем Дерпте ровно в 12 часов 31 декабря всеми гражданами города. За несколько минут перед 12 часами ночи самые разнообразные круги, где бы они ни собрались для встречи Нового года — у родных, родственников или близких знакомых, в клубе или в общественном собрании, спешили на главную городскую площадь перед Ратушей, многие, захватив с собой шампанское и бокалы. На площади — огромное оживление, гуляющими заполнены не только тротуары, но и все проезды на самой площади и в прилегающих улицах. Стрелки на часах Ратуши приближаются к 12 часам, все устремляется поближе к Ратуше, и в момент, когда часы бьют полночь, вся площадь оглашается возгласами «prosit Neue-Jahr!» (с Новым Годом!) При этом поздравляют и обращаются с новогодними пожеланиями не только к своим близким, но к любому встречному без разбора. Всегда чопорные немецкие бюргеры и чванливые Farbenträger'ы (студенты дворянских корпораций в цветных шапочках) чокаются с извозчиком или с Aufwärterin (прислужгой). Из верхнего окна под часами Ратуши доносится пение новогодней кантаты и через 10–15 минут большинство возвращается с оживлённой площади в свой узкий круг, унося с собой частичку общего подъёма и оживления.

Разумеется, это уцелевший осколок старого быта бюргерства провинциального города, не меняющий разобщенности и сословно-классовой розни тогдашнего буржуазно-помещичьего быта дерптского общества, но на минуту создавалась иллюзия общности разных групп и слоёв немецкого, эстонского и русского населения, а для русского студенчества в Дерпте особенно тягостна была именно оторванность от местного населения. Незнание эстонского и немецкого языков было помехой для поддержания связей у русских студентов с местными эстонскими и немецкими общественными кругами. Русские студенты замыкались в своём узком мирке, варились, так сказать, в своём собственном застоявшемся соку, а общественная их жизнь ограничивалась «Конкордией» и редкими вечеринками в университетском «Обществе русских студентов».

В отличие от «Конкордии» Общество русских студентов было организацией с более ограниченным кругом участником его жизни — его постоянных членов. Состав постоянных членов Общества пополнялся из числа гостей, бывавших в Обществе и пользовавшихся его библиотекой, читальней, столовой по рекомендации членов Общества. Выборы в члены Общества происходили после знакомства многих членов Общества с новым заявлением о желании вступить в Общество. В читальне был обширный выбор периодической печати и новых книг. Всегда соблюдалась тишина и обеспечивалась возможность сосредоточиться над книгой.

Членов Общества русских студентов было немного — 20–30 человек. Среди них преобладали люди, не начинающие студенческую жизнь, а по большей части приехавшие в Дерптский университет, чтобы закончить своё высшее образование после ряда лет, проведённых в ссылке. Многие из них были литературно образованными людьми. В то время, когда мы

(Деген, я, Косач и другие мои дерптские друзья) вступили в Общество, там пользовались большим уважением Приселков и Омиров, в особенности — последний. Он любовно и внимательно относился к более молодым членам Общества. Под его влиянием пробуждался серьёзный интерес к передовой русской литературе, к литературе Герцена и Чернышевского, Белинского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина. Большим горем была (кажется через год после моего вступления в Общество русских студентов) болезнь и смерть Омирова. Как-то быстро эта болезнь определилась, как скоротечная форма туберкулёза (милиарный туберкулёз). Члены Общества попеременно дежурили у больного. Я помню, как безысходно тяжело было не находить слов и сил для ободрения умиравшего товарища. Смерть его вызвала искреннее горе у всего русского студенчества в Дерпте.

После смерти Омирова известной популярностью в Обществе русских студентов стали пользоваться вернувшиеся из ссылки, заканчивавшие в Дерпте медицинское образование Э. В. Эрнст и Семён Шарый. У них были черты, свойственные некоторым людям, потерпевшим в жизни крушение, — известная усталость от общественного движения, неверие в высокие цели, проявление постоянного скептического отношения к новым общественным течениям. Они посмеивались и подтрунивали над теми, кто серьёзно и упорно изучал Маркса, Энгельса. «Чтобы содействовать революции, не нужно погружаться в материалистическую философию и социально-экономическую науку, нужны решимость, смелость», — говорил Эрнст по поводу нашей попытки ставить в Обществе русских студентов доклады о начавшемся в те годы (1891–1893) философском и социально-экономическом обосновании у нас перехода от народничества к марксистскому движению. Помню, мне пришлось перевести два или три доклада (о полемике Энгельса против Дюринга — «Dührings Umwälzung der Wissenschaft» и о написанном К. Марксом Манифесте 1-го Интернационала о Парижской Коммуне) из Общества русских студентов — в «Конкордию», где эти мои доклады вызвали интерес у молодого студенчества.

С насмешками относились эти «старики» и к вниманию, которое начало проявляться в то время к литературному радикально-социалистическому движению (на украинском языке) И. Франко и Павлика. В связи с этим я и Евгений Викторович Деген вышли из Общества русских студентов. В обоснование своего выхода я послал мотивированное письмо, направленное против разъедающего влияния Шарого.

Теперь этот шаг кажется мне неправильным, так как вместо выхода из Общества, как раз нужно было оставаться в нём и продолжать настойчиво проводить свою линию, а не ослаблять позиции оставшихся в Обществе моих друзей (Левицкого, Малянтовича, Косача, Балака и др.)¹.

¹ В своих воспоминаниях лидер партии эсеров В. М. Чернов, характеризуя студенчество Дерптского университета, пишет: «Состав студенчества был вообще красочный. Выделялись недавно вернувшиеся из ссылки народовольцы: угрюмый, молчаливый Эрнст, присяжный шутник и остроумец Шарый; ...был и кружок украинфилов, в центре которого стояли братья Френкели...». См.: Чернов В. М. Записки социалиста революционера. Книга первая. Берлин, 1922. С. 61.

Приятные воспоминания остались у меня от поездки вместе с тремя другими членами Общества на лодке из Дерпта по р. Эмбаху вверх до озера Вирцьярв и вниз от Дерпта до озера Пейпус. Это было то ли летом 1891, то ли 1892 г. В то лето я оставался в Дерпте, чтобы систематически готовиться к «философикуму», т. е. к сдаче экзамена по всем предметам, без полного зачёта которых нельзя было получить доступ к занятиям в клиниках (прежде всего, по физиологии и анатомии, физике, органической химии и пр.)

Как-то старшие по времени пребывания в Дерпте члены Общества — Ярилов и Шаталов — предложили мне принять участие в 2–3-дневной поездке на лодке по Эмбаху до Вирцьярвского озера, чтобы оттуда предпринять экскурсию для осмотра известных стекольного и зеркального заводов. С Яриловым мне приходилось встречаться при моих частых поездках на лодке по Эмбаху до ближайших лодочных станций — Квиссенталь (3 км) и Газенкруг (7 км). С детства я был выносливым и довольно сильным гребцом. Кроме Шаталова и Ярилова, изучавших естественные науки — геологию и почвоведение, в поездке принял участие ещё один медик-выпускник — сибиряк Гинцбург. Лодка была взята довольно большая, с двумя парами уключин. С собою мы взяли самовар и корзину с продовольствием. В путь отправились рано утром. Попеременно двое сидели на веслах, работая без отдыха час; в это время двое других отдыхали, один за рулём, а другой — наблюдал за самоваром. Чай должен был безотказно утолять жажду. Каждый час пары менялись. Преодолевая течение, мы успешно, хотя и не слишком поспешно, продвигались вверх, стремясь к ночи добраться до озера Вирцьярв, километрах в 45 от Дерпта. По пути днём на красивом берегу устроили привал, подкрепились, поразмяли ноги на лугу, собирали цветы. Солнце уже заходило, когда мы приплыли к рыбацкой мызе у озера Вирцьярв. От озера тянуло свежестью. Переговоры с хозяевами были немногословны, так как запас эстонских слов у нас был очень невелик, а хозяева не знали ни немецкого, ни русского языка. И хотя на все наши вопросы: муна? пима? элют? и т. д. следовало неизменное «эййолэ» (нету), но очень благодушная хозяйка все же позвала нас зайти в дом. Пока мы договаривались о ночлеге, над озером в вечерних сумерках поднялась луна. Был уже тихий летний вечер, а у берега ещё плескались не улёгшиеся волны. Раньше, чем вытащить лодку на берег, мы не смогли устоять от удовольствия вечерней прогулки в нашей гондоле по серебристым от лунного света волнам Вирцьярвского моря. Однако боль в мышцах от дневной работы веслами очень скоро вернула нас к месту ночлега. Оказалось, что, невзирая на все решительные «эййолэ», нас ожидал богатейший ужин. Хозяйка успела сварить уху из какой-то крупной свежего улова рыбы, в запасе оказалась картошка, кипел наш самовар, одним словом, проблема питания была разрешена и на вечер, и на утро.

Проснувшись рано утром, мы подробно ознакомились «без слов», а только путём «смотрения» и логических умозаключений, заменивших нам анкетные ответы, со всей техникой, производственно-организационными основами и социально-культурной и бытовой надстройкой рыбацкой мызы. Кроме семьи хозяина, тут были и двое наёмных рабочих; кроме главного занятия — рыболовства, имелось также и придомовое сельское хозяйство.

Оставив лодку у мызы, мы несколько часов шли пешком до намеченной нами конечной цели — стекольно-зеркального завода. У Шаталова было письмо от профессора к управлению завода с просьбой предоставить возможность его слушателю посмотреть производство. Но даже и надобности в этом письме не было. Владелец этих заводов, Амелюнг, сам когда-то бывший дерптский студент, узнав от Шаталова о желании его и его спутников ознакомиться с предприятием, проявил исключительное радушие, вышел к нам и настоял, чтобы мы раньше отдохнули и подкрепились. Как ни отговаривались мы ссылками на дорожный вид, пришлось подчиниться. Мы были представлены хозяйке дома, познакомили нас с дочерьми. Была предоставлена в верхнем этаже баронского дома комната с проведённой водой и массой зеркал. Сам хозяин проводил нас на зеркальный завод. Мастер подробно показывал и объяснял всю технологию и организацию производственных работ, давал обстоятельные справки исторического и экономического характера. Затем хозяин сообщил нам, что стекольный завод мы осмотрим утром, и пригласил нас к обеду. После обеда и отдыха, мы приглашены были принять участие в игре во дворе в крокет. На следующий день программа осмотра стекольного завода была полностью выполнена. Поблагодарив радушных хозяев, мы пустились в обратный путь. Снова переночевали на мызе у озера, а ранним утром на своей лодке отправились, теперь уже не борясь с течением, а пользуясь его ощутимой помощью, так что в Дерпте вышли из лодки, не чувствуя чрезмерной усталости от 40-верстного плавания на веслах вниз по Эмбахе.

Недели через две, когда каникулярное время близилось уже к концу, мы в том же составе участников предприняли поездку из Дерпта вниз по Эмбахе до озера Псковского (Пейпус). Туда путь был лёгок. В конечном пункте у впадения Эмбаха в Пейпус мы были вполне удовлетворены нашим речным туризмом. У Псковского озера мы могли не только «смотреть», но и подробно беседовать с местными рыбаками, понимавшими русскую речь. Обратная поездка на нашей лодке вверх по Эмбахе до Дерпта, однако, надолго оставила по себе память своею трудностью. Ветер днём с каждым часом усиливался. Дул он наискось, прибывая и прижимая лодку к берегу, а то даже гнал её обратно. Много часов с крайним напряжением, сменяясь через каждые полчаса, мы медленно подвигались против течения и против ветра. После обеденного нашего отдыха на лугу, ветер еще более усилился. Возникла мысль устроить из наших одеял парус. Нелегко было достать реи. Пришлось в качестве мачты использовать связанные ремнями два весла. К нашему неожиданному счастью направление ветра изменилось в более благоприятную для нас сторону, наша лодка с чёрным из одеял и пледа парусом, при работе одной лишь парой вёсел пошла так быстро, что нос резал воду с плеском и в три-четыре часа мы закончили оставшуюся часть пути.

Как и в 1891, в 1892 г. я остался в Дерпте на каникулярное летнее время, чтобы полнее сосредоточить свои усилия на самостоятельной работе по усвоению дисциплин, намеченных в плане, выработанном мною самим. Я научился ценить на собственном опыте летнее одиночество в тихой дерптской обстановке в те часы, которые я проводил в читальном зале и в специальных помещениях замечательной Дерптской университетской

библиотеки. Устроенная в восстановленной части руин древнего готического собора, университетская библиотека пленяла не только богатством своих книжных собраний, не только обстановкой, от которой веяло поэтическими образами гётевского Фауста, но и чрезвычайно внимательным и предупредительным отношением к посетителям и их запросам со стороны библиотечного персонала. Чаще всего запросы быстро удовлетворял сам библиотекарь или его помощник Шлютер. Для меня оставалось загадкой, как удавалось безотказно вести все библиотечное обслуживание посетителей и так полно обеспечивать каталогизацию и рост библиотечных накоплений при наличии такого малочисленного библиотечного штата. С признательностью вспоминаю я, как можно было получить не только указания на сборник или книжку журнала, но и самый этот сборник, в котором имелась интересующая статья или работа. Из увесистого тома «Документов по рабочему движению» Р. Майра, в часы, когда хотелось отвлечься от своих медицинских дисциплин, помню, я извлёк и перевел для последующего доклада в «Конкордии» поразительный по бичующей силе, написанный К. Марксом «Манифест I Интернационала» о расправе французской буржуазии с Парижской Коммуной 1871 г.

Описанные мною выше лодочные экскурсии, как и другие аналогичные прогулки, бывали лишь относительно редкими нарушениями летнего моего уединения для сосредоточенного штудирования.

Бытовой уклад жизни студентов в Дерпте во многом сильно отличался от студенческого быта в других наших университетских городах. В Дерпте студент снимал комнату обычно без отопления и почти без всякой мебели или с недостаточной мебелью (стол, стул и кровать). Обычно студент должен был сам приобретать необходимую мебель. Во всяком случае, он должен был иметь нужную в быту утварь: щетки для чистки обуви и платья, чайную и столовую посуду и обязательно — Theemaschine. Это не самовар в русском понимании, а жестяной чайник, вроде сплюснутой лейки, в середину которой вделана труба, соединенная внизу через дно с отверстиями для поступления воздуха. Для уборки комнаты, топки печи, мойки посуды и пр. студент приглашал приходящую один или два раза в день на 1–2 часа *Aufwartering* (с платой 3–5 руб. в месяц). Такие приходящие служанки, хотя все они были эстонками, обычно говорили по-немецки. Имели они по 5–6 клиентов. Дрова и уголь студент обычно покупал на складе или на рынке сам. Имея ключ от своей комнаты-квартиры, студент никого не беспокоил своим поздним или несвоевременным возвращением. Такой бытовой уклад делал его более независимым и самостоятельным в повседневном обиходе.

Несколько лет я снимал, помнится, отдельную небольшую хижину во дворе на *Lehmstrasse* (Глиняной ул.). Хижина одним окном выходила на улицу. Вход в неё был через дверь в саду. В небольших сенях можно было складывать запас дров, маленькая кухня служила и столовой, а не имевшая окна средняя тёмная комната могла быть обращена в спальню. При заботливом уходе за этой садовой постройкой, при некотором утеплении стен на зиму и достаточном отоплении она вполне заменяла собою целый дом, хотя плата за это, по существу, нежилое помещение, по своим размерам не

могла отягчать даже моего ничтожного бюджета. Зато, когда, проявляя мои домостроительные устремления, я обратил в обитаемое помещение и считавшиеся необитаемыми кухню и тёмную комнату, у меня получилась возможность оказывать иногда временное гостеприимство некоторым новым друзьям, приезжавшим в Дерпт, пока им не удавалось устроиться.

Так, помню, у меня прожил несколько недель Викентий Викентьевич Смидович (позднее известный под своим литературным псевдонимом Вересаев), приехавший из Петербурга, где он был исключен из Медицинской академии за участие в студенческом движении¹. В Дерпте он закончил медицинское образование. В совместной жизни В. В. был исключительно деликатным, тихим человеком, внимательным к соблюдению общих удобств чистоты и порядка. Викентий Викентьевич поражаёл своею усидчивостью и любовью к сосредоточенному чтению. Он охотно и внимательно слушал мои рассказы и суждения, от которых по моей экспансивности я не всегда мог удержаться, но сам он нелегко отзывался и не ввязывался в разговоры. Очень много стихотворных отрывков он знал и говорил наизусть. У меня осталось в памяти удивление, вызванное каким-то очень длинным стихотворением Минского, выразительно, хотя и тихим голосом продекламированное Викентием Викентьевичем на память.

Гораздо более яркие и стойкие воспоминания остались у меня от другого моего гостя, временно проживавшего у меня, пока он не устроился с квартирой, — Николая Васильевича Водовозова. Он был исключён из Петербургского университета в 1891 г. в связи с участием студенчества в похоронах Н. В. Шелгунова. Похороны носили демонстративный характер. От лица передового петербургского студенчества Н. В. Водовозов произнёс речь. Небольшого роста, хрупкий и даже несколько болезненный на вид, Николай Васильевич производил неотразимое впечатление своей образованностью и несомненной одарённостью. С раннего детства выросший в среде передовых литературных деятелей, часто бывавших в семье Водовозовых, воспитанный всесторонне образованным, выдающимся педагогом, каким была его мать (а не только отец — известный педагог 60–70-х гг.), Н. В. Водовозов, благодаря незаурядным способностям и привычке к усидчивым занятиям, в которые он вкладывал живой интерес и даже известную страстность, производил впечатление не студента, а уже сложившегося молодого учёного.

В то время в Обществе русских студентов обращал на себя внимание Богдан Кистяковский, как серьёзно изучавший марксистскую литературу. В тот период он выступал, в упоении своим превосходством, как последователь философии марксизма. Насколько, однако, непрочны были у него самые основные корни материалистической философии, показала дальнейшая эволюция его взглядов в сторону идеалистических философских

¹ Здесь З. Г. Френкель допускает неточность: в своих «Воспоминаниях». Вересаев рассказывает, что в Дерпт он уехал учиться потому, что ему отказали в приёме в Военно-медицинскую академию, поскольку он просил назначить ему меценатскую стипендию, а её давали выпускникам естественных факультетов, тогда как он окончил филологический. (См.: *Вересаев В. В. Воспоминания*. М., 1982. С. 339).

блужданий. Н. В. Водовозов в Обществе русских студентов первый выступил с изложением системы экономического учения К. Маркса.

В личной жизни Н. В. Водовозов казался мне очень непритязательным и симпатичным человеком, умевшим вносить интересное содержание даже в случайные беседы за вечерним чаем. Помню его рассказы о Салтыкове-Щедрине, которого в детстве он не раз видел среди гостей, бывавших у Водовозовых. С чувством искреннего горя узнал я уже после окончания университета о безвременной смерти Николая Васильевича в 1896 г. на пороге открывшейся перед ним учёной и литературной деятельности. Ему едва минуло 25 лет.

В первые годы дерптской жизни у меня как-то само собой завязывалось много новых знакомств с людьми, довольно далеко стоявшими друг от друга по своему складу, характеру, внутренней ценности и устойчивости. У меня возникала необходимость и зарождалось желание научиться разбираться в людях, правильно оценивать их. Всё более определённо вырабатывалась привычка руководствоваться при оценке людей не их высказываниями и суждениями, а их устойчивостью, постоянством и их поступками, поведением, их делами и отношением к другим людям.

Копаясь летом в карточном каталоге, занимавшем целый зал университетской библиотеки, я наткнулся на книгу «*Misère de la Philosophie*» К. Маркса. Оторвавшись от своих медицинских занятий, я немало дней потратил на тщательное штудирование этой беспощадной критики философии Прудона. В одном месте Маркс, говоря о путях для правильного изучения и оценки общественных течений и политических партий, настаивает, что как о людях, мы судим не по тому, что они сами о себе думают, а по их действиям, так и о политических партиях нужно судить не по их программам и самовосхвалению, а на основе объективного учёта их фактической деятельности подходить к раскрытию их классовой сущности. Самоочевидной истиной Маркс считает мысль, что о людях нельзя судить по тому, что они сами о себе думают и говорят, а нужно основываться на их действиях. У меня возник вопрос, а знаю ли я сам себя? «Познай самого себя!» — читали мы в гимназии в диалогах Сократа, изложенных Платоном. Но познать себя нужно так же, как мы познаём других, не по своим мыслям и словам, а по своим действиям; не по своему самочувствию и самосознанию, а по своим поступкам и делам. Их нужно наблюдать, контролировать и только на их учёте составить о себе суждение — так же, как мы судим о других: не по неизвестному нам их самочувствию и не по их словам, а по их делам, поведению, по их образу жизни и быту. Как ни элементарна эта мысль, как ни кажется она для каждого самоочевидной, но на этот раз она действительно овладела мною, и я упорно и долго работал над самопознанием в этом смысле. Мне кажется, что это стремление и старание смотреть на себя глазами стороннего наблюдателя не прошли для меня бесследно. Я отучил себя от переоценки своих сил, от многих форм поведения, которые могли задевать самолюбие других; была вытравлена в моих отношениях с людьми самонадеянность, снисходительность к себе и строгая требовательность к другим. От близких мне людей мне доводилось слышать, что в Дерпте у меня произошёл некоторый перелом, я

стал «гораздо более мягким и терпимым к людям, менее ригористичным и прямолинейным».

В течение зимнего семестра в результате сосредоточенной работы летом, невзирая на далеко не полное владение немецким языком, я сдал полукурсовой «philosophicum», т. е. экзамены по физике и зоологии, по анатомии и физиологии и по всему курсу неорганической и органической химии. Только по химии, которою я больше всего занимался в лаборатории и по руководствам, я получил у чудесного старика Карла Шмидта оценку *genügend* (т. е. удовлетворительно или — «три»). По другим предметам отметки были настолько положительными, что по конкурсу экзаменов я был принят в число казённых стипендиантов. Размер стипендии в Дерпте был 25 рублей в месяц, и этим вполне разрешён был для меня вопрос о средствах для дальнейшего пребывания в университете до окончания медицинского образования (то есть на 1893–1895 гг.).

Неудача с отметкой по химии была для меня совершенно неожиданной. Карл Шмидт (или, как его называли студенты, Карлуша), лекции которого я усердно посещал в течение двух семестров, приходил в аудиторию задолго до начала занятия и старательно, чётким, ясным почерком выписывал на обеих сторонах одной и другой доски наименование и формулы всех химических соединений, о которых должна была идти речь на лекции. Против каждой формулы, в неизменном порядке, стояли цифры: удельный вес, температура точки замерзания и кипения и т. д. Всё написанное на доске он тщательно сверял со своею бумажкой. Точно, минута в минуту, он начинал и заканчивал лекцию. Быстрый во всех своих движениях, он успевал в лекции упомянуть обо всех соединениях, длинными вереницами которых были исписаны доски. Не могу сказать, сколько ему было лет, но вид он имел трогательного, необычайно симпатичного, очень древнего, совершенно седого старика. О нём, о его детской наивности, забывчивости и незлобivosti ходило очень много самых пикантных анекдотов. Каждое воскресенье, как полагается богобоязненному немецкому главе семьи, он шёл, с молитвенником в руках, вместе с супругой в университетскую кирку. Это я сам лично видел не раз: химик Карл Шмидт с *Vetbuch*'ом (молитвенником) в руках!

Экзамен по химии у Карла Шмидта происходил в актовом зале главного университетского здания вечером. Студент подходил к столу, брал билет, громко называл его номер и садился за стол лицом к профессору. Обдумывая вопросы своего билета, пока отвечал предыдущий экзаменуемый, студент устремлял взор вдаль над головой профессора. Там группа умелых и опытных в этом деле «товарищей» подымала большой плакат со всеми sacramентальными цифрами — формула, удельный вес, температура плавления, кипения и пр. Всё шло гладко, без заминок. На мою беду я вынул билет с темой «*petroleum*». Всё, что полагалось насчёт формул и цифр я, не подымая глаз ввысь, знал, и так как профессор, не прерывая меня, продолжал слушать, то я перешёл к изложению теории происхождения нефти. Незадолго до этого я с увлечением прочитал статью Д. И. Менделеева с его гипотезой о происхождении нефти прониканием воды до раскалённой земной магмы, содержащей в себе железо и углерод. Окисляясь, железо

отнимало от молекул воды кислород, а освободившийся водород соединялся с углеродом в предельные углеводороды. Для выявления в земной магме железа были использованы астрономические вычисления среднего удельного веса земного шара. Гипотеза Менделеева казалась мне настолько увлекательной, что я принялся излагать её во всех деталях. Профессор благожелательно слушал и не задавал мне никаких вопросов. Наконец он прервал меня:

— Sehr interessant, aber gar nicht wissenschaftlich (очень интересно, но совсем не научно), — и поставил мне тройку.

Это вызвало сенсацию даже у незнакомых мне студентов, бывших на экзамене. Один из них обратился ко мне за разъяснением, в чём причина такого несоответствия отметки необычно подробному ответу. Как известно, гипотеза Менделеева о происхождении нефти не нашла в дальнейшем подтверждения и не принята в науке. Но я не знал, что она уже считалась забракованной. Профессор К. Шмидт просто считал, что экзамен имел целью определить степень усвоения читанных им лекций, а гипотезами он на лекциях не занимался.

Прямую противоположность Карлу Шмидту представлял его брат — профессор физиологии Александр Шмидт. Среди студентов он именовался «Blut Schmidt» («кровавый Шмидт») за его открытия в учении о крови и сущности процессов её свёртывания. Уж его-то, конечно, нельзя было встретить в воскресенье идущим в кирку с молитвенником в руках. В немецких кругах он считался вольнодумцем. Лекции по физиологии обставлялись у него очень демонстративно опытами на животных. Помогал ему при этих опытах служитель — небольшого роста старичок — Ляне. Без Ляне не проходило ни одно занятие. Нередко в лекциях, говоря о своих открытиях в области физиологии, Александр Шмидт говорил: «Ich und Liane» (я и Ляне). Опыты с определением скорости нервной проводимости он, однако, ставил не на Ляне, а на ком-нибудь из студентов. Замыкание тока на самописце при уколе на лице производилось закрытием рта, а при уколе в ногу — нажимом большого пальца ноги. Разница в долях секунды на барабане зависела от удвоенной разницы расстояния от мозгового центра до жевательной мышцы и от мозгового центра до мышцы сгибания большого пальца стопы. Но Ляне, по словам Шмидта, был тиходум-эстонец, и, почувствовав укол, он не сразу закрывал рот или сжимал палец на ноге, а начинал размышлять: «Ага, укол, значит нужно что-то сделать. Так. А что именно? Да, нужно прикусить...», — и т. д. Слушая эти слова профессора, Ляне добродушно усмехался.

Экзамен по физиологии А. Шмидт принимал у себя дома в назначенные часы. Приглашал к себе в кабинет, предлагал сигару. Отказываясь с благодарностью от сигары, я не удержался и заметил, что предпочитаю дышать натуральным воздухом, а не воздухом, смешанным с продуктами полного и неполного сгорания табачных листов. Никакой реакции на моё вполне учтивое скромное замечание не последовало. Экзамен вёлся без спешки, обстоятельно. По разным отделам. «Ну, на этом, пожалуй, закончим», — заметил, наконец, профессор, подавая мой Beleg-Buch с отметкой «ausgezeichnet» («отлично») и прощаясь.

В цикл философикума входил экзамен по «диететике». В Московском университете на первом курсе читалась «Энциклопедия и история медицины». Это было как бы общее введение в этот раздел науки. В Дерпте ту же роль играл курс лекций по диететике, читавшийся известным фармакологом Кобертом. В этом курсе были собраны материалы и по гигиене, по изучению влияния внешней среды и её изменений на здоровье человека; и по профилактике заразных, профессиональных и всяких других болезней; и основные данные по изучению изменений в организме от отравлений ядами и пр. Читал профессор в ранние утренние часы, с 6 до 8 утра, в круглой аудитории анатомического театра. Ни одной минуты опоздания. Профессор Коберт ходил по коридору, пока стрелки часов не достигали цифры 6. Он входил в аудиторию и уже читал свою лекцию, направляясь к кафедре. Основным содержанием лекций, можно всё же сказать, была личная гигиена и личная профилактика с обоснованием, — по преимуществу, подробным приведением данных физиологии, биохимии и токсикологии.

Значительное впечатление производил оригинальной манерой чтения лекций и своею всегдашней сосредоточенностью профессор анатомии Август Раубер. Вспоминается его первая лекция после летнего перерыва, проведённого мною в Дерпте в 1891 г. Профессор Раубер вошёл в аудиторию, а за ним служитель Райнольд нёс огромный лист чистого картона, на котором был протянут и закреплён длинный волос. «Что это?» — начал лектор, указывая на волос. — «Das ist ein Haar», скажете вы, но что такое волос?» — и профессор с глубокой убеждённостью рассказал всю сложность строения волоса и ещё большую сложность его образования и его развития в животном мире. Так именно и нужно приступать к изучению строения человеческого тела, как к миру явлений, поражающих своею сложностью и предъявляющих неотступный вопрос к нашему сознанию постигать, изучать всю эту сложность.

«Wenn ihr ohne Bewunderung anfanget/Dann werdet ihr nie in das Heiligtum eindringen» (Если вы приступаете без изумления, вы никогда не проникните в святыню)» — цитировал он Шиллера.

Несомненно, Раубер был одним из крупнейших анатомов, много сделавшим в изучении анатомии человеческого мозга. Среди немецкой профессуры в Дерпте он держался обособленно, совершенно игнорируя общественное мнение затхлого обывательского болота. И окончательно уронил себя в глазах профессорского мещанства тем, что женился на своей прислуге. По своим социальным взглядам Раубер не принадлежал к передовым мыслителям. Когда вышла книга А. Бебеля¹ «Женщина и социализм», Раубер объявил цикл публичных лекций против этой работы. С анатомической точки зрения он критиковал и отвергал взгляды на предоставление женщинам права и возможности широкого участия в общественной жизни, доступа ко всем областям научной деятельности. Во всей своей полемике и критике Бебеля он обнаружил полное своё незнакомство с социально-

¹ Бебель Август (1840–1913) — один из основателей и руководитель германской социал-демократической партии и II Интернационала, борец против милитаризма и колониализма.

экономическими науками. У меня хватило терпения прослушать первые две публичные лекции крупного учёного и выдающегося оригинального человека, каким действительно был Раубер. Но я с сожалением видел, как к вопросам, которыми он научно не занимался, Раубер подходит по-бытательски, роняя достоинство человека науки. Актовый зал университета на лекциях о Бебеле был переполнен дамами из «хорошего» общества, усердно вязавшими, вышивавшими и вообще погружёнными в рукоделия и горячо одобрявшими ниспровержение Бебеля профессором Раубером.

Сами по себе живые и яркие воспоминания о многих страницах моей жизни, о полных глубокого содержания встречах встают передо мною сейчас, более 70 лет спустя, нередко вне хронологической их последовательности и связи. Мне не всегда удаётся уверенно установить, к какому точно году относятся те или иные события и встречи. На личном опыте я убеждаюсь в присущих так называемому анамнестическому методу в статистике недостатках — ненадёжности отправных хронологических дат, если они не обоснованы документальными записями.

Так, не могу я точно сказать, относятся ли к лету 1892, 1893 или даже 1895 г. мои воспоминания о поездке из Дерпта вместе с Анной Николаевной Деген-Ковалевской на хутор Ковалевщину в Полтавскую губернию. Анна Николаевна уезжала из Дерпта на лето со своим тогда ещё единственным ребёнком, только что вышедшим из грудного возраста. Путешествие с не вполне здоровым ребёнком для физически очень слабой Анны Николаевны было положительно непосильным подвигом, и я решил, насколько мог, помочь ей в пути. Я направлялся в то лето навестить родителей, живших на хуторе в Попенках. Я не был дома два года. В Бахмаче мне нужно было бы расстаться с Анной Николаевной, чтобы ехать к своим, но этого просто невозможно было сделать, так трудно было А. Н. справиться с пересадками и уходом за ребёнком в дороге. Поэтому я продолжил путь вместе с нею до конечной станции Ромны, а затем далее — на лошадях.

В Ромнах была нанята «балагула» и после утомительного путешествия в течение многих часов по пыльной степной дороге с крутыми спусками в глубокие яры и трудными подъёмами из них, мы прибыли, наконец, в Ковалевщину. Здесь я близко познакомился с отцом Анны Николаевны — Николаем Васильевичем Ковалевским, человеком исключительно оригинальным и выдающимся. Он остался одиноким вдовцом после гибели в сибирской ссылке в 1889 или в начале 1890 г. его жены, матери Анны Николаевны. Все имевшиеся у него средства Николай Васильевич отдавал на поощрение теплившихся ещё кое-где старых конспиративных начинаний по поддержке революционных изданий на украинском языке культурно-политического освободительного направления. Ковалевский был близким другом украинского публициста и историка М. П. Драгоманова, выступавшего за культурно-национальную автономию Украины, издававшего в то время в эмиграции «Вильну спильку» и поддерживавшего выходившие в Галиции народно-радикальные социалистические газеты «Народ» и «Хлибороб». Ковалевский постоянно предпринимал поездки по Украине, навещал былых своих университетских товарищей, иные из которых, став материально обеспеченными людьми, давно позабыли о прежних сво-

их симпатиях к революционному движению. Немало труда стоило подчас Николаю Васильевичу, чтобы пробудить общественную совесть у погрузившегося в тину обывательского благополучия прежнего студенческого товарища и «подвести его к денежному ящику», получить от него некоторую сумму для помощи тем, в ком не угасла прежняя воля к борьбе за народ, за свободу, против угнетения и несправия. Ковалевский известен был в кругах его прежних товарищей под названием «дида». Не знаю, сколько было ему лет, думаю, не более 65, но вид он имел старого украинского дида с длинной седой бородой.

На второй или третий день моего пребывания в Ковалевщине мне впервые пришлось оказать акушерскую помощь. На хуторе уже третий день в родах мучилась жена одного из хуторян, деревенская подруга детства Анны Николаевны. Первородящая. Роды протекали медленно. Встревоженный сильными страданиями жены, молодой муж совсем потерял голову после того, как безуспешно съездил в город за акушеркой. Та была в отъезде. Я в то время ещё не проходил акушерской практики (из этого можно заключить, что дело было не в 1894, а в 1893 г.). Уезжая на лето, я захватил с собой, между прочим, учебники Шредера и Рунге. Пробежав весь раздел о нормальных родах и акушерской помощи при них, я не без внутреннего смущения отправился к роженице.

Очень милая и, по-видимому, добрая, склонная к украинскому юмору в промежутках между схватками, она во время всё усиливавшейся и затягивающейся схватки неистово вскрикивала, плакала и проклинала всё и всех. Муж, с чувством виноватости и полного бессилия помочь, метался во все стороны. Хутор был небольшой. Никакой опытной бабки не было. По внешнему обследованию мне казалось, что всё идёт своим чередом. Роженица крепкая, пульс в порядке. Воды ещё не отходили. Я постарался успокоить её и её симпатичного и страдавшего едва ли не более чем сама роженица мужа. Послал его к Анне Николаевне за чистой простыней. Затопил печь и поставил чугуны воды, чтобы иметь под рукой откипевшую воду. Сохраняя вид полного спокойствия и уверенности в том, что всё идёт, как положено, я терпеливо перечитывал страницу за страницей в пособии Шредера. Так прошла почти вся ночь. Наконец пузырь лопнул, и прошли воды, после чего роды пошли ускоренно. В соответствующий момент я героически удерживал головку, охраняя промежность от разрывов. Наконец ребёнок родился и огласил хату своим первым криком. Стараясь всё делать так, как я только что вычитал у Шредера, я выкипяченными тесёмками перевязал пуповину в двух местах и перерезал её между ними. Вымыв и очистивши крепкого мальчишку, я подал его матери, счастливой от того, что прекратились боли. Я шутиливо спросил её: «Шо, бильш николаы вже не будете рожать?» — «Ну, це як прийдеться», — улыбаясь, ответила она. Побыв ещё часа два рядом с роженицей и убедившись, что никаких осложнений не будет, я дождался, пока счастливый муж привёл одну из соседок, и ушёл. Тёплое утреннее солнце заставляло сверкать лучами солнца капли росы на придорожной траве и кустах в яру.

За завтраком я, не распространяясь о моих акушерских дерзаниях, успокоил Анну Николаевну, что всё вполне благополучно и численность

украинского народа увеличилась одним будущим борцом за долю «рідного края». Побывав у родильницы, Анна Николаевна сообщила, что отец новорождённого и приехавшие из соседней деревни его родители понесли ребёнка крестить в церковь и, с согласия Анны Николаевны, запишут крестной матерью её, а крестным отцом — меня. Было уже поздно и бесполезно возражать против этого, и нужно было отправиться на «крестины», т. е. на обед. Это был наспех сервированный, но очень торжественный обед в той же хате, где проходили роды, а теперь лежала мать с новорожденным. Было вместе с нами человек восемь родичей со стороны матери и отца, но всем управлял дед малыша. Он пригласил всех выпить за младенца, за его здоровье и благополучие: «Щоб вин ріс здоровий, як вода, та був багатий, як земля; та щоб мав разум добрий та вік довгий». Молодой отец, теперь совсем не похожий на того растерянного, беспомощно мечущегося, каким он был накануне, красиво подтянутый поверх украинской «свитины» широким поясом, подносил новорождённого к каждому пившему за его здоровье и от его имени с низким поклоном выражал благодарность. Я не пил, но должен был всё же пригубить поднесённую чарку. Солнце уже садилось, когда мы с Анной Николаевной возвращались по крутому склону яра через запущенный старый вишнёвый сад домой. «Кто был сегодня самым счастливым участником семейного торжества?», — спросила Анна Николаевна, хотевшая сказать, что счастливее даже матери и отца был я, случайный гость на семейном пиру, которому столько простой искренней, прямо дружеской благодарности высказывали родители. Я, однако, признавал это впечатление Анны Николаевны предвзятым и пристрастным в мою пользу, так как считал, что подлинно счастливым чувствовал себя — и был в действительности — отец новорождённого, преобразившийся в ответственного, умеющего держать себя с достоинством «батька».

С кратковременным пребыванием в Ковальщине связано у меня и воспоминание о поездке в Годяч, чтобы навестить жившую там в одиночестве старуху — мать М. П. Драгоманова, в то время бывшего профессором истории в Болгарии (в университете в Софии). Инициатором и организатором поездки в Годяч была Анна Николаевна. В Годяче, на краю города, на очень высоком берегу Псёла стоял небольшой белый домик, напоминавший более просторную украинскую хату с окружающим садом. Из окон дома и с веранды открывался вид на простор полей, на бескрайнюю полтавскую степь, по которой, извиваясь, уходил вдаль Псёл.

Мы были очень любезно и просто приняты приветливой и умной старухой, матерью М. П. Драгоманова. Во время нашего визита вошла и скромно села в стороне, а затем приняла участие в разговоре одетая по-украински и говорившая без всякой натяжки и без всякой рисовки, просто, на украинском языке, девушка, показавшаяся мне совсем молодой, хотя имела вид человека, не обладавшего цветущим здоровьем. Она вошла, сильно прихрамывая на одну ногу. Скоро я заинтересовался её рассказами о Годяче и его окрестностях. Разговор перешёл на более общие темы. Она упрекала приезжавших на лето студентов за отрыв от местной общественной жизни, за их отчуждённость от сельского народа. Анна Николаевна с бабушкой вышли в сад. Собеседница моя, когда она вошла,

не была представлена, и мне ничего не говорили слова Анны Николаевны, которая, проходя, сказала мне, что это одна из внучек хозяйки дома. Между прочим, как на признаки некоторого поворота у украинской студенческой молодёжи внимания к украинскому селу и украинскому народу, я указал на усиливающийся интерес за последний год к издающимся в Галиции газетам «Народ» и «Хлибороб» и на присылку в эти газеты литературного материала из Украины. Незадолго перед тем в одном из номеров полученного (в закрытом письме) «Народа» было напечатано стихотворение неизвестного мне до того времени поэта. Я помнил это стихотворение и попытался рассказать наизусть:

Сторононька рідна, коханий мій краю,
Чому все замовкло в тобі, заніміїло?
Де не де — озветься пташина несміло
І знову замовкне. Як глухо, як тихо...
Ой лихо!
Ой люде мій бідний, моя ты родина,
Брати мої вбоги закути в кандали.
Палают тяжкі, незагойливі рани
На лоні у тебе, моя Україно.
Кормігу тяжку хто разбить нам поможе?
Ой боже!
Чи можем ми, діти, веселими бути,
Як ненька в нудьгі та в недолі обивається нами,
Деж тута веселого слова здобути?

Когда я окончил, она с некоторым удивлением и вопросом смотрела на меня. «Та це ж бо я написала». Только тогда я вспомнил, что под стихотворением стояла подпись — Лесья Украинка¹, и что Михаил Петрович Косач говорил мне, что под этим псевдонимом скрывается его старшая сестра.

Больше мне не пришлось с нею встречаться, и её дальнейшая судьба прошла мимо моей жизни. Но в моей памяти очень живо сохранился связанный с именем Леси Украинки образ тихой, задумчивой, одетой по-украински девушки, привлекавшей к себе искренностью и простотой, чуждой всякой рисовки и надуманности. Когда более полувека спустя случайно мне пришлось прочитать вышедшую отдельным изданием фантастическую поэму Леси Украинки «Лисова сказка», мне было очень трудно связать живший в моей памяти образ украинской революционной поэтессы, овеянный глубокой искренностью, простотой и непосредственной правдивостью, с претенциозным символизмом, надуманностью и поэмами героев её произведения. В последние годы я не был в Киеве и не видел памятника, открытого там Лесе Украинке. Но хотелось бы увидеть в нём черты не поэта-мыслителя, подражающего трагедии второй части «Фаус-

¹ Украинка Лесья (наст. имя Лариса Петровна Косач-Квитка) (1871–1913 — украинская писательница, дочь Олёны Пчілки (наст. имя Ольга Петровна Косач) (1849–1930), украинской писательницы, публициста, этнографа. И мать, и дочь — авторы сборников и циклов стихов, поэм, пьес, а также статей (Пчілка) националистического характера.

та», а симпатичный, влекущий к себе силою непосредственной жизненной правды образ молодой революционной поэтессы.

В Киеве я не часто бывал в моей жизни. Однако есть места в этом городе, которые неизгладимо врезались в мою память. Такими являются крутые береговые высоты от Андреевской горы до Киево-Печерской Лавры, Владимирская гора и спуск к Подолу и Днепру, но в особенности — Университет Святого Владимира и его Ботанический сад.

Университет Св. Владимира памятен мне по тому чувству обиды, горечи и почти полного отчаяния, которое я испытал в конце августа 1890 г., когда в ответ на своё прошение о приёме меня на медицинский факультет я получил жёсткий отказ.

Зато с примыкающим к университету Ботаническим садом у меня связаны самые добрые воспоминания. С раннего детства я любил мир растений. Два раза, ещё в гимназические годы, я специально в каникулы ездил в Остёр, а оттуда на пароходе в Киев, главным образом, чтобы посмотреть и более основательно ознакомиться с замечательными древесными насаждениями, аллеями и коллекциями Ботанического сада.

Кроме того, киевский Ботанический сад воскрешает в моей памяти также одно из светлых, радостных переживаний периода моей дерптской жизни. Не могу с полной уверенностью установить, было ли это летом 1893 или 1894 г. В то время я сблизился с немногочисленным кружком студентов, интересовавшихся радикально-демократическим движением, зародившимся среди украинской интеллигенции в Восточной Галиции под влиянием уже упоминавшегося мною М. П. Драгоманова. Оно стремилось проникнуть в широкие массы сельского населения. Кроме М. П. Косача, А. Н. Деген-Ковалевской, Е. В. Дегена и меня, в кружке было ещё несколько лиц (А. Грабенко и др.), с интересом читавших получаемые нами в закрытых письмах по почте номера галицко-украинских газет «Народ» (Ивана Франко) и «Хлибороб» (Павлика). Нас объединяло понимание необходимости готовить тех, кто должен был затем работать среди украинского народа. Такие работники, считали мы, должны владеть языком этого народа, чтобы пользоваться имеющейся украинской литературой, содействовать обогащению этой литературы и уметь использовать её в практике передового общественно-политического и социалистического движения.

Было решено устроить в июне в Киеве совещание лиц, поддерживавших на Украине распространение упомянутых газет и обсудить возможные меры по улучшению их содержания и изыскания помощи для их издания. Первая встреча организаторов совещания была назначена на площадке в конце Лиственичной аллеи Ботанического сада. Одним из участников этой встречи был я. Невзирая на все мои возражения, мне пришлось принять это поручение. Предварительно всесторонне была обсуждена линия твёрдого и полного отказа и сопротивления каким бы то ни было украинско-националистическим тенденциям. Язык — это орудие, инструмент общения. Этим инструментом нужно пользоваться в совершенстве. Но связывает нас не инструмент, а цель — социальное освобождение трудовых масс от экономической эксплуатации, от капиталистического порабощения и политического угнетения, их культурно-национальное, политиче-

ское и экономическое освобождение путём развития их самостоятельности и социально-политического подъёма.

Приехав в Киев в назначенный день, я с вокзала на извозчике проехал несколько улиц и остановился в номерах, в которые он меня привёз. Привёл себя в порядок с дороги. Оставив в номере свой небольшой чемоданчик, я вышел на улицу, не записав ни адреса гостиницы, ни номера комнаты. Выйдя, я поискал ближайшую кофейню, зашёл в неё, позавтракал, а затем, посмотрев на часы, отправился в Ботанический сад. Там без труда нашёл аллею и дождался, когда подойдут другие участники встречи. Оказалось, что совещания будут происходить за Днепром, на берегу «Старика» (старого русла Днепра), куда надо было добираться на лодках от определённого лодочного пункта, наняв их у указанного лодочника. По дороге все перезнакомились и, расположившись на сухом луговом берегу, занялись с увлечением обсуждением вопросов, которые были подготовлены одним из организаторов совещания.

Всего было не более 12–14 участников (из Киева, Харькова, Москвы, Дерпта). Беседа велась оживлённо, сразу определилась объединившая всех мысль — на первый план выдвигать социально-экономические задачи, как основную цель, а культурно-политический подъём — как путь для объединения трудовой народной массы. Орудием для работы среди населения является его язык. Нужно готовить и людей, и литературу также и для работы среди украинского народа. Поскольку другой возможности нет — поддерживать и распространять «Хлибороб» и «Народ», посылая туда статьи к подготовке культурно-политических работников и вооружения их не только инструментом — украинским языком, но и прежде всего основным оружием — социально-экономическим пониманием движения трудовых масс к социализму.

Наступил упоительный украинский вечер. В сумерках мы сели в лодки и уже довольно поздно вечером вернулись на лодочную пристань. Выйдя из лодки и распроставшись с тремя бывшими в ней товарищами по этой прогулке, я впервые, точно пробудившись после сна, вернулся к реальной действительности. И эта действительность была для меня не так безоблачна и совсем не гармонировала с моим бодрым настроением внутреннего подъёма. В кармане у меня был взятый с собой ключ от моего номера, но адреса номеров, куда утром привёз меня извозчик, я не знал; хуже всего, что я не спросил и не узнал даже названия улицы... Как же мне быть? На всякий случай решил направиться к университету. Его я нашёл. Затем, напрягая все силы моей памяти, постарался восстановить и проделать путь, каким я шёл утром. Мне показалось, что я должен был свернуть налево, чтобы зайти в кофейню, в которой утром пил чай. Как будто одна из кофеев походила на утреннюю, но она была закрыта. Свернув на соседнюю улицу, я прошёл мимо гостиницы, и, идя дальше, подошёл к открытому входу в номера для приезжающих. Точно во сне, не думая, я вошёл в открытую дверь, поднялся по лестнице во второй этаж, повернул в коридоре направо, дошёл до конца коридора, вынул ключ из кармана. Он легко вошёл в скважину в замке, я открыл дверь, и только увидев лежащий на стуле мой чемоданчик, окончательно пришёл в себя, точно проснулся от какого-то забытья. С радостным облегчением стал я вынимать

из чемодана дорожные вещи и остатки продовольствия. Бывают же в жизни такие счастливые, хотя, как будто, и маловероятные происшествия!

В первые годы пребывания в Дерпте (до получения стипендии) я для заработка давал уроки и репетировал по древним языкам и по математике, а также по русскому языку. Первый такой урок я получил у издательницы «Dörptsche Zeitung». Она поддерживала отношения с немецкими университетскими кругами. Сын её, ученик 4-го класса, был очень любознательный и, по существу, способный мальчик. Занятия с ним оплачивались довольно скромно, но мне они доставляли удовлетворение понятливостью ученика и быстрыми его успехами в школе после занятий со мною. Именно в связи с этими его успехами я получил предложение от профессора Б. Кербера¹ заниматься с двумя его сыновьями, учениками 2-го и 4-го класса, сильно отстававшими по многим предметам в школе. В качестве гонорара мне была предоставлена комната и питание: утром кофе подавался мне в мою комнату, а обед и ужин были за общим столом с семьёй профессора.

Профессор Кербер долгое время, до занятия кафедры судебной медицины и гигиены в университете, был врачом на одном из наших военных кораблей. Поэтому он более или менее владел русским языком. Кроме него, однако, никто в семье ни слова по-русски не знал. Весь уклад жизни и обиход определялись и направлялись в доме женой профессора, дочерью пастора, который тоже был профессором теологического факультета в том же Дерптском университете.

Быт, отношения, все разговоры и общение были типичными для немецкого мещанства: с пересудами, кто у кого был в гостях, что там подавали к ужину и тому подобные Theeklatsch (чайные сплетни). Никакое отступление от общепринятого — в costume, во взглядах, в высказываниях не допускалось. Всё это подпадало под определение Unanständig (неприличие).

Оба мои ученика, старший — юноша лет 14-ти, и младший — лет 11-ти, были изрядно избалованными лентяями и проказниками, но внешне всё прикрывалось у них впитанною с раннего детства привычкой к условному приличию. Сколько помню, что-то около года я занимался с ними, У нас сложились в общем недурные отношения, но я всё же не видел у них пробуждения живой любознательности и естественной правдивости, отворачивания ко лживому внешнему благополучию и замазыванию действительности приличиями. Сам профессор Кербер был, насколько я имел возможность убедиться, достаточно умудрённый жизнью человек. Он с уважением относился к политическому свободолюбию и вольнодумству других, и то обстоятельство, что я был из Москвы выслан, в его глазах меня не роняло, а скорее поднимало. Однако внешне он полностью подчинял всё своё поведение принятому мещанско-протестантскому укладу, которому строго следовала хозяйка дома — фрау профессор Кербер.

Ровно в 4 часа, минута в минуту — звонок к обеденному столу. Я приходил, здоровался с хозяйкой и гостями, если в данное время они были. Обмен

¹ В своих воспоминаниях Вересаев пишет о Кербере: «Это был тупица анекдотический, почти невероятный на профессорской кафедре» (*Вересаев В. В.* Указ. соч., стр. 367).

стереотипными вопросами о погоде, о здоровье. Открывалась дверь кабинета, где обычно работал профессор. Поздоровавшись со всеми, он подходил к своему месту. Все вставали и в благоговейном молчании внимали молитве, которую громко и отчётливо своим низким басом читал хозяин:

Gott im Himmel Sei unser Gast
Segne uns und was du uns gescheret Last...

Только после этого все садились и принимались за еду. Начинался обычный обеденный разговор под управлением всё замечающей и на всё реагирующей фрау профессор Кербер, командующей горничной и кухаркой, обслуживавшими обедающих. Точно такая же молитвенная процедура происходила и по окончании обеда. Как только профессор, прервав разговор, вставал, все поднимались и в наступившем молчании раздавалось произносимое профессором благодарение Господу:

Wir danken dir Jesus, dass
Du unser gast gewesen bist. Amen.

Ежедневно, возвращаясь к обеду домой, профессор Кербер заходил (или заезжал на извозчике) в купальню на реке Эмбах, чтобы окунуться перед обедом в студёной воде. Это он делал всегда, летом и зимою, не зная ни на какую погоду, и даже в самые сильные морозы. Он настолько был тренирован, что это рискованное упражнение проходило для него безнаказанно. Хотя ему было только 55 лет, выглядел он старше. В саду при доме на Техельферской улице, где жил профессор, были устроены колодцы с крышками. Систематически либо он лично, либо кто-нибудь из работавших у него студентов производили замеры высоты стояния грунтовых вод. Это была дань времени, признание правильности утверждения М. Петтенкофера о влиянии колебаний уровня грунтовых вод на развитие брюшнотифозных заболеваний. Гигиену профессор Кербер читал преимущественно как науку описательную об общественных и государственных учреждениях и устройствах, имеющих значение для здоровья населения (больницы, общественные бани, прачечные, уборные, тюремная медицина и т. д.). Как отдельный предмет преподавал он также судебную медицину и проводил занятия по судебно-медицинским вскрытиям. К экзамену нужно было хорошо знать составленное им руководство к технике вскрытия трупов новорожденных. Это руководство называлось «Sektionstechnik für Neugeborene Kinder», что означало буквально: «Секционная техника для новорожденных». Такое название вызывало постоянные остроты со стороны студентов, поскольку оно было так сформулировано, будто речь шла не о технике вскрытия новорожденных, а о руководстве для новорожденных по технике вскрытия.

Лекции Кербер читал по запискам. Всякое описание, всякое изложение он разбивал на целый ряд мелких подразделов под отдельными номерами: во-первых, во-вторых и т. д. Положительной стороной деятельности Кербера, как профессора гигиены, был его интерес к изучению местных санитарных условий Дерпта и постоянное деятельное внимание к мерам по поднятию санитарного благоустройства города и по оздоровлению его населения.

Раньше, чем Дерпт официально был переименован в Юрьев (в декабре 1893 г.), русификация в Дерптском университете проводилась на юридическом факультете. После смерти И. И. Дитятин¹ одним из первых экстраординарным профессором истории русского государственного права был приглашён (по указанию министерства, но с соблюдением требований устава относительно выборов советом) Михаил Александрович Дьяконов². Если я не ошибаюсь, лекции на русском языке он начал читать в 1891 г. Он держал себя вполне корректно по отношению к немецким профессорам и местным особым правам коллегиальных университетских учреждений. Не помню, когда произошло моё первое знакомство с ним — либо на вечере в Обществе русских студентов, либо через Анну Николаевну Деген. Михаил Александрович очень интересовался передовыми течениями среди русского студенчества. В высшей степени культурный, знающий и любивший нашу литературу, он производил очень приятное впечатление своею простотою и искренностью, я бы сказал, особою правдивостью, сквозившей во всех его высказываниях. Такое же впечатление принадлежности к хорошей передовой русской интеллигенции производила и его жена — Надежда Александровна, окончившая петербургские Высшие Бестужевские курсы. Но мне, может быть, даже больше, чем родители, доставляли удовольствие исключительно милые дети Дьяконовых — Саша, ему тогда было лет 6–7, и трёхлетняя Наташа. Я рос в большой нашей семье, где всегда было несколько младших малых детей. Привычка к отдыху в забавах с малышами, по-видимому, так глубоко укоренилась у меня, что обратилась в какую-то потребность общения с детьми. В Дерпте, где целыми неделями я зарывался в книгах, особо остро ощущалась радость от детского веселья, от их непосредственности, простоты и привязанности. Я охотно отзывался на приглашение Дьяконовых и бывал у них, всякий раз встречая дружелюбный приём также и со стороны детей. У них вызывало веселье, когда я их забавлял, высоко подымая и подбрасывая.

Летом, когда я оставался в уединении в Дерпте, по приглашению Дьяконовых я как-то навестил их на даче в Ассерне на взморье. Впервые я видел там море, шумевшее особым, не стихавшим и ночью, шумом; впервые видел песчаные прибрежные высокие дюны, поросшие сосновым лесом, и непосредственно не то что понял, а, так сказать, ощутил весь процесс их образования, когда понизу тянуло от моря освежающим ветром, подымавшим песчаную пыль с подсохшего широкого пляжа. Гуляя с Сашей, я выискивал жуков и рачков в прибитой на берег тине, гонялся за пёстрыми стрекозами, взлетающими на песчаных буграх дюн.

Много лет спустя, в 1906–1920 гг., в период первой Государственной думы и позднее, когда мои дочери учились в Лесновском коммерческом училище, и когда после Костромского крушения мы устроились жить на

¹ Дитятин Иван Иванович (1847–1892) — историк государственной школы, правовед.

² Дьяконов Михаил Александрович (1855–1919) — историк, академик Петербургской АН (1912), с 1917 — академик РАН.

«Полоске»¹, возобновилось моё знакомство с Дьяконовыми. Я был много лет председателем родительского комитета коммерческого училища, а Надежда Александровна деятельно посещала заседания родительского комитета. Тогда в училище обучалось младшее поколение её детей. Дьяконовы бывали у нас на «Полоске». Михаил Александрович, тогда уже академик, оставался таким же простым, искренним и симпатичным человеком, пленявшим своей отзывчивостью, отсутствием всякой рисовки и правдивостью, каким я его знал в Дерпте.

Несколько позже Дьяконова в Дерпте появился (во второй половине 1891 г.) на юридическом факультете другой русский профессор — Николай Ал. Карышев. Он занял кафедру политической экономии. Вскоре по приезде в Дерпт, он был выбран, вместе с М. А. Дьяконовым, в почётные члены Общества русских студентов. Ближе я познакомился с ним по поводу предложенной им мне работы по приведению в порядок и составлению каталога его библиотеки. В доме, где была квартира Карышева, зимою 1891–92 гг. произошёл пожар. Вещи и вся довольно значительная библиотека профессора во время пожара были выброшены во двор. После пожара книги, валявшиеся во дворе и в саду, в полном беспорядке были снесены в кучи в уцелевшую от пожара квартиру. Многие книги были растрепаны. В то время (до получения стипендии) я нуждался в заработке и согласился привести в порядок библиотеку.

Начав работу, я вскоре увлекся ею. Разрозненные листы подкладывал и подклеивал к соответствующим томам, подбирал номер за номером годовые экземпляры «Юридического Вестника», «Земства» и других журналов. Богатой была коллекция статистических изданий — земских и городских. С особым интересом разбирал я литературу по общественному движению 1850–1880 гг. Часто продолжал работать до поздней ночи. В соответствии с основным содержанием библиотеки (экономические исследования, статистика) мною был составлен общий список с распределением по отдельным вопросам и отраслям знания. Насколько полно была представлена в библиотеке литература по крестьянскому вопросу, по сельскохозяйственной статистике и экономике, настолько недостаточны были в ней материалы по рабочему движению на Западе. Непропорционально мало было в библиотеке профессора политической экономии и статистики — книг на иностранных языках: ни классиков политической экономии на английском языке, ни утопистов на французском, ни Маркса и Энгельса на немецком.

Когда я закончил работу, Карышев очень был доволен порядком и каталогом книг и в качестве гонорара уплатил мне не то 15, не то 20 рублей, во всяком случае, раза в три-четыре меньше, чем я ожидал. Я постеснялся сказать ему об этом. Просто не мог. Очевидно, сам он никогда не выполнял подобных работ за плату. Он производил впечатление избалованного жизнью и воспитанием барина.

Из русских профессоров, приехавших в Дерпт несколько позднее, я познакомился у Дьяконовых с Францем Юльевичем Левинсоном-

¹ Так назывался на окраине Петербурга, в Лесном, участок земли, на котором З. Г. Френкель построил свой дом.

Лессингом¹. Небольшого роста, всегда внимательно слушавший собеседника, он принадлежал к группе передовых русских учёных и довольно скоро в Дерпте приобрёл репутацию серьёзного исследователя. Жена его так же, как и он, изучала специально минералогию, петрографию и геологию. Позднее, уже в советский период, мне приходилось встречаться с Францем Юльевичем в Политехническом институте, потом на Академической базе в Заполярье, где Франц Юльевич изучал вместе с профессором Ферсманом² минеральные богатства Хибинского хребта, и в Крыму, в Коктебеле, где он упорно работал летом в Институте по изучению крымских горных пород.

В первые годы дерптской жизни я старался возможно больше читать по-немецки и слушать немецкую речь. Выдающимся немецким оратором считался брат профессора физики Артура фон Эттингена — профессор Александр фон Эттинген, читавший на философском факультете курс *Moral Statistik*. Несколько раз я слушал его, не столько следя за содержанием его изложения, сколько старясь усвоить обороты его красивой, нередко изобиловавшей ораторскими приёмами, речи.

Мне рекомендовали в целях усвоения немецкой речи слушать в университетской кирке проповеди теолога профессора Хершельмана. Слишком много времени при этом уходило на слушание песнопений и своеобразной стройной и гармоничной музыки органа. Для понимания и усвоения немецкого языка проповеди Хершельмана приносили много пользы, хотя в них было мало непосредственной искренности и простоты и слишком много протестантской показной нравственной высоты. В начале проповеди Хершельман благоговейно обращался к всевышнему за указанием чему, какому вопросу посвятить проповедь: «und wenn ich an unseren Herr Gott mich wende», — и он театрально раскрывал книгу Священного Писания и читал на как бы случайно выпавшей странице текст, который, очевидно, он избрал заранее темой своей проповеди.

Для чтения чаще всего я покупал в издании Universal-Bibliotek отдельными томками (стоившими лишь несколько копеек) новинки, вроде Беллами — «Im Jahre 2000» («В 2000-м году») или только что появившиеся в немецком переводе «Wer ist Schuld?» Герцена, стихотворения Лермонтова (в переводе Фидлера), немецкие переводы Тургенева, Толстого. Читая русских авторов на немецком языке, не нужно было задумываться над отдельными немецкими выражениями. Смысл их был ясен сам собою. После прочтения целого томка оставалось впечатление, будто перечитывал его на русском языке. Отдельными томками покупал я и дешёвые издания Гейне, Шиллера, Гёте. Целые страницы из «Фауста» с тех пор остаются в моей памяти. Когда-то, ещё во втором классе гимназии, помню, я пытался прочесть «Фауста» в русском переводе. Но до конца, кажется, тогда так его и не дочитал. Во всяком случае, второй части я не окончил. Но в Дерпте в

¹ Левинсон-Лессинг Франц Юльевич (1861–1939) — петрограф, минералог и вулканолог, академик АН СССР (1925).

² Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945) — геохимик и минералог, один из основоположников геохимии, академик АН СССР (1925).

первый же год я прочитал обе части «Фауста» в подлиннике и после того многие годы не расставался с этим величайшим произведением человеческого гения.

В гимназии я считал совершенно ненужным всякое нагромождение иносказаний, образов. Мне казалось, что всякую мысль нужно излагать, высказывать прямо и просто, без всяких излишних отступлений, а всякие жизненные происшествия нужно рассказывать и изображать с полным реализмом, так, как это бывает на самом деле. А тут, у Гёте, какое-то раздвоение: Фауст и его двойник Мефистофель, реальная действительность и фантастическая, невысказанная, казалось мне, совершенно ненужная небылица и выдумки. Так относился я к Фаусту в 13 лет — в 1882 г., а в 1892 г. каждая мысль, каждая строчка открывала передо мною глубочайшие достижения человеческого ума, человеческого гения и жизненной умудрённости, являлась для меня высочайшей вершиной философского обобщения впечатлений, восприятий и знаний, получаемых от реального мира. В поэтических образах, в желаниях Фауста, в сарказме Мефистофеля воспринимались и оформлялись отзвуки того, что переживалось самим, но что часто не доходило до полного сознания. «Ach, der Teufel der ist alt, man muss alt, werden, um zu verstehen», — думал я словами Мефистофеля. Целые главы первой части и многие страницы второй из «Фауста» запечатлелись наизусть так прочно, что и до сих пор, более 70 лет спустя, при случае я их декламирую. Иногда теперь я испытываю неотвратимую потребность, желание вновь перечитать «Фауста» с кем-нибудь, стоящим на пороге той поры жизни, в которой уже созрели все предпосылки для глубокого философского осмысления и обобщения всего жизненного опыта, той поры, которую переживал я в мои детские годы.

Летом 1892 г. в Дерпте на гастролях был Берлинский Lessingstheater. Я систематически посещал его спектакли. Шли, главным образом, пьесы Зудермана («Die Stürzen der Gesellschaft», «Schlacht der Schmetterlinge» и др.), а также и немецкие классические (Шиллера и др.). К моему удовлетворению, я мог убедиться в полном овладении мною немецким языком.

Неразлучная гимназическая тройка тесно спаянных друзей — Вячеслав Галяка, Левка (Константин Осипович Левицкий) и я — была разлучена окончанием гимназии. Хотя я и поступил в университет вместе с Галякой, но как-то дороги наши разошлись, и после Нежина мне не довелось больше с ним видаться, по крайней мере, я не помню этого.

Левицкого постигла беда: вскоре после окончания гимназии у него при жандармском обыске было найдено какое-то нелегальное издание, и за это он целый год томился в тюрьме. Наконец, он был выпущен. Я стал осаждать его письмами, чтобы он приехал в Дерпт для поступления в университет. С осеннего семестра, если я не ошибаюсь, 1892 г. он был принят на юридический факультет. Со времени его приезда мы жили вместе в том домике в саду на Lehmstrasse, о котором я уже говорил выше.

Константин Осипович был идеальный сожитель. Обычно молчаливый, погружённый в чтение книг или в размышления о прочитанном, он никогда не мешал заниматься. С двух слов мы понимали друг друга. Большим огорчением для меня была лишь его привычка курить. За вечерним чаем мы

обменивались своими впечатлениями за весь день. Его бедой было полное незнание немецкого языка и отсутствие воли к овладению им. Очень скоро он был введён мною в Общество русских студентов. Там у него завязались некоторые знакомства, но вообще после постигших его бед и тюремного сидения он стал более замкнутым и не проявлял инициативы в сближении с новыми людьми. Для меня всегда оставалось загадкой, как он обходился в университете без немецкого языка. Лекции, правда, читались на юридическом факультете тогда уже преимущественно на русском языке (доцентом Зачинским, Невзоровым, Карышевым, Дьяконовым), но некоторые важные предметы (римское право, пандекты¹ и др.) ещё читались по-немецки. Во всяком случае, он вполне исправно сдавал зачёты и держал на русском языке полагающиеся экзамены.

Наша жизнь с ним значительно оживилась с приездом в Дерпт в 1893 г. Владимира Малянтовича², который, не имея возможности поступить в университет, устроился в Дерптский ветеринарный институт и лишь позднее получил юридическое образование. Из моей памяти совершенно исчезли всякие следы воспоминаний, как и где произошло наше первое знакомство с В. Н. Малянтовичем. Вероятно, однако, как это часто бывало, он временно, до решения вопроса с собственным жильём, пользовался у нас помещением. Он был очень общителен. Несколько экспансивный, довольно начитанный, он подкупал своей искренностью и живым интересом к очередным тогда спорам между народниками и марксистами.

Очень скоро его внимание и признание склонилось на сторону социал-демократического направления. На этой почве наши отношения стали более близкими от постоянного обсуждения появлявшихся уже тогда в печати книг и статей с коренной критикой народничества. Врезалась мне в память привычка Малянтовича, когда он читал, обдумывал и разговаривал, непрерывно однообразно захватывать рукою свою бороду и жевать её во рту. Повторял он этот жест без конца. Это было невыносимо мучительно видеть, как и всякое без конца повторяемое навязчивое движение, почему-либо привлекавшее к себе внимание. Но деликатность не позволяла мне как-нибудь обратить внимание на неприятную надоедливость его привычки.

Несколько позднее наш узкий дружеский кружок окреп и бурно оживился с приездом в Дерпт Виргилия Леоновича Шанцера³. Потерпев крушение в Киевском университете, он приехал в Дерпт и был принят на юридический факультет. Это было в самый напряжённый момент горячей борьбы сторонников «Русского Богатства»⁴ против марксистского направления, впервые выступившего на открытую арену шумных собраний

¹ Сочинения древнеримских юристов по вопросам частного права.

² Малянтович Владимир Николаевич — социал-демократ, сотрудник «Последних новостей».

³ Шанцер Виргилий Леонович (Марат) (1867–1911) — народоволец, социал-демократ, с 1903 — большевик, член Московского комитета, член ЦК РСДРП.

⁴ Ежемесячный литературный, научный и политический журнал, 1876–1918. Основан писателями народнического направления (Н. Н. Златовратский, Г. И. Успенский, В. М. Гаршин и др.). С 1893 — новая редакция (Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко) сделала журнал центром легального народничества.

и споров в «Конкордии» после первых моих рефератов о книге Энгельса «Dührings — Umwälzung der Wissenschaft».

Придя как-то домой, я узнал, что ко мне заходил и оставил письмо от одного из киевских знакомых только что приехавший оттуда студент. Он оставил адрес, где остановился. Мы быстро разыскали его. Он привёз с собой известный марксистский сборник, готовившийся тогда к выходу в свет, с большой статьёй Тулина (под этим именем выступал тогда В. И. Ленин). Так как на ближайшее собрание в «Конкордии» было назначено обсуждение моего реферата и противники (их было очень много), как нам стало известно, мобилизовали силы, то выступление на подмогу нового, хорошо владевшего словом Шанцера мне казалось очень важным. Так это и оказалось. В. Л. Шанцер стал часто бывать у нас. Его бурный характер спорщика, увлекавшегося во время обсуждения и увлекавшего за собой собеседников, его цельность и убеждённость и в то же время какая-то наивная беспомощность в вопросах практической жизни, пробуждали симпатию и дружбу к нему. Француз по происхождению, он охотно в спорах переходил на французский язык; часто, чтобы заставить меня преодолеть стеснение и решиться отвечать ему по-французски, он упорно не отвечал мне на мои вопросы и замечания, сказанные на русском языке. Говорил он темпераментно, выразительно, но речь его лилась с оглушительной скоростью, и не так-то легко было с полным пониманием следить за нею. Однако привычка и необходимость отстаивать свою точку зрения в споре преодолевали эти трудности, и я навсегда сохранил признательность к Виргилию Леоновичу, научившему меня понимать беглую французскую речь и заставившего побороть застенчивость и стеснение от сознания своего плохого французского произношения.

К этому же периоду моего дерптского студенчества относится моё близкое знакомство с одним немецким рабочим-электромонтёром Августом Мюллером. Я случайно как-то познакомился с ним при выполнении им работ по электропроводке. Оказалось, что он сам из Германии, служит в какой-то Рижской фирме, приславшей его выполнить специальный заказ в Дерпте. Узнав от него, что в Германии он считал себя сторонником социал-демократической партии, я пригласил его как-нибудь зайти после работы ко мне. Он пришёл в первое же воскресенье. Чисто выбритый и безукоризненно одетый, он очень мало похож был на электромонтёра в грязной куртке и старой кепи, с которым я за несколько дней перед тем познакомился. Я рассказал Левицкому мой случайный разговор с электромонтёром из Германии и теперь представил этого чисто одетого, с ослепительно белыми воротничком и манжетами гостя, как того рабочего, о котором раньше рассказал. За чашкой чая Август долго оставался у нас. Я ему показывал новые номера «Neue Zeit», «Der Wahre Jocol», недавно вышедшую Эрфуртскую программу Каутского. Уходя, он взял с собою несколько брошюр. Он стал заходить к нам часто, прямо с работы, и уже у нас мылся и переодевался в чистый пиджачок и манишки, которые приносил с собою в небольшом пакете. Он умел очень внимательно слушать и только после размышления вставлял свои замечания. Держался он совершенно непринуждённо. Помню, в одно из его вечерних посещений, ко мне по какому-то делу зашёл профессор М. А. Дья-

конов. Мы пили чай с Августом, который только что успел переодеться. Разговор зашёл о политических событиях в германском Рейхстаге, которые общались в «Русских ведомостях». Я сказал Мюллеру по-немецки, о чём мы говорим. Он очень язвительно отозвался об ораторах из партии центра (клерикалах) и просто и толково высказал несколько суждений об отношениях между социал-демократами и клерикалами, за которыми шли некоторые профсоюзы. Несколько времени спустя как-то за вечерним чаем у Дьяконовых зашла речь о немецких студентах на юридическом факультете. Один из новых доцентов жаловался на полное отсутствие у большинства из них понимания и интереса к общественно-политическим вопросам современной жизни. М. А. Дьяконов заметил по этому поводу, что это не общее явление, и рассказал, как недавно он лично мог убедиться, что есть немецкие студенты, хорошо разбирающиеся в современных политических партиях германского Рейхстага. Михаил Александрович был изумлён, услышав от меня, что Мюллер не немецкий студент, а рабочий-электромонтёр, временно присланный фирмой для выполнения работы по заказу в Дерпте. Знакомство моё с молодым Августом Мюллером продолжалось до конца его пребывания в Дерпте. Он успел перечитать все имевшиеся у меня социал-демократические издания: работы Энгельса, Маркса, Каутского, Франца Меринга и даже все тома сочинений Лассаля, выходившие тогда в новом издании под редакцией Бернштейна.

Позднее, уже когда я собирался уезжать из Дерпта, я получил от Мюллера очень милое дружеское письмо из Риги и его фотопортрет с надписью: «Meinem hochgeehrten Lehrer — S. F.» (Моему глубокоуважаемому учителю — З. Ф.). Как мне передавали, он очень своевременно уехал из Риги в Германию, так как в 1896–1897 гг., во время первых арестов участников социал-демократических организаций в Латвии, Мюллера специально разыскивали. Много позже, в 1911–1912 гг., я слышал, что Август Мюллер стал видным работником в Берлинском социал-демократическом движении, а после революции 1918 г. он одно время даже занимал пост министра труда в правительстве Германии.

Не сохранилось в моей памяти, когда и при каких условиях познакомился я в Дерпте с Александром Дауге, и через него со всем кружком латышских студентов — социал-демократов. Последние два года моего пребывания в Дерпте у меня завязалось близкое знакомство, и даже дружба с Сашей, как звали Александра Дауге в его семье и среди друзей. Это был высокий, стройный мужчина, всегда бодрый, весёлый, оживлённый, простой и благожелательный. Он был женат и трогательно выполнял отцовские обязанности, ухаживая за своим младенцем, помогал купать его в ванне. Его жена была изумительно подходящая для него подруга и товарищ. Она так же, как и Саша, штудировала всю получавшуюся в Дерпте социал-демократическую литературу, вместе с ним серьёзно изучала экономические и философские труды. Мне доставляло истинную радость заходить к Дауге на полчаса вечером, поделиться новостями, узнать, не получены ли новые издания и присутствовать при обычно довольно шумном и весёлом купании молодыми супругами их крепкого здорового ребёнка. Оба они — и муж, и жена, производили всегда какое-то бодрящее, успокаивающее

впечатление. Я удивляюсь, почему с отъездом из Дерпта у меня полностью прервались всякие сведения о Дауге.

Из латышского круга друзей Дауге особенно выдавался глубоким знанием философских основ марксизма Каспарсон. Им написана была и издана на латышском языке целая книга об основах диалектического материализма. Очень активным участником латышского кружка был студент-медик Калнин.

Помню нашу попытку отметить 1-е мая, как международный праздник труда, совместной прогулкой на лодках до Газенкруга вшестером: Левицкий, Малянтович, я, Рутштейн и латыши — Дауге и Калнин весной 1893 или 1894 г. К нам присоединилось ещё несколько человек, и на берегу мы обменялись соответственными майскими приветствиями¹.

Отчётливо встаёт в памяти, как в 1894 г. поздней осенней ночью раздался неистовый стук в закрывавшуюся на ночь ставню единственного выходившего на улицу окна в нашем приземистом домике на Глиняной улице. Пробуждённые от мирного сна, мы с Левицким поспешили к окну, чтобы отпереть ставни, и увидели группу своих латышских друзей, шумно возвестивших о смерти Александра III. С этим связывались тогда очень скоро разлетевшиеся в прах какие-то смутные надежды на появление несколько большего простора для деятельности печати и для рабочего движения.

Не могу вспомнить, как началось знакомство моё с Мартной и его семейством. По-видимому, началось оно в 1893 или в 1894 г. по инициативе Александра Дауге. Мартна был представителем передового эстонского социал-демократического общественного движения. У него собирались немногие тогда эстонские сторонники этого зарождавшегося тогда среди эстонской интеллигенции течения. Они стремились начать издание свободной литературы на эстонском языке.

У Мартны встречался я с ещё молодым тогда эстонским писателем Эдуардом Вильде². В то время он вернулся из Берлина, где прожил около двух лет. Там он близко познакомился с социал-демократическим движением и примкнул к нему. Весёлого характера, своими рассказами о берлинской жизни он часто вносил оживление в общество, собиравшееся иногда у Мартны на чашку чая. После первой революции в 1905–1906 гг. Вильде был редактором эстонского социал-демократического органа, а затем в период столыпинской реакции вынужден был бежать и много лет жил в эмиграции в Дании.

Сам Мартна по специальности был мастер малярного художественного дела. Он художественно расписывал потолки и стены в богатых немецких

¹ Как свидетельствуют документы Департамента полиции, на протяжении всех лет учёбы в Дерптском университете З. Г. Френкель продолжал оставаться под негласным надзором жандармов. Так, в одном из донесений начальника Лифляндского губернского жандармского управления в Департамент содержится список поднадзорных студентов: Михаил Дьяков, Соколов, Богоявленский, Левицкий, Давыдов и Френкель, а в другом донесении сообщается, что Захарий Френкель состоял в Обществе русских студентов экономом и кассиром. (ГАРФ. ДП. Ф. 102. Д. О. О., 1890–1893. Оп. 226. Д. 374 и 417).

² Вильде Эдуард (1865–1933) — эстонский писатель, представитель критического реализма.

и эстонских квартирах, как это было принято в Дерпте. Потолки разрисовывались картинами, в столовых изображались фрукты, овощи, дикие утки, фазаны или тетёрки, повсюду писались поучительные надписи и пр. Мартна производил впечатление образованного человека, благодаря его любви к чтению и упорной работе над самообразованием. С настойчивостью штудировал он Маркса, Энгельса, Лассаля, Каутского. Хотя он был горячим эстонским патриотом, но дома разговорным языком у него был немецкий язык, и весь домашний обиход был проникнут немецкой культурой. Только изредка хозяин вставлял в речь характерные эстонские поговорки и крепкие слова.

Удивительно милым и симпатичным человеком была гостеприимная жена Мартны, всегда с большим вниманием принимавшая участие в общем разговоре и проявлявшая серьёзный интерес к русскому общественно-освободительному и революционному движению. Мартна писал статьи для эстонских газет, и его жену, видимо, волновали литературные успехи мужа. Подшучивая над Мартной, Дауге говорил, что у Мартны вышло уже пять томов его сочинений, которые все тут налицо — он указывал на девочек и мальчика Мартны, всегда чисто, хорошо одетых и прекрасно воспитанных, очень любознательных и приветливых. Я бывал просто очарован этой чудесной пятёркой: от серьёзной и умной двенадцатилетней Франциски до медлительного маленького двухлетнего Томаса. Эти «пять томов собрания сочинений Мартны» занимали меня, быть может, даже более, чем томики рассказов Вильде и статьи Мартны, которых я не мог читать, так как они были написаны на эстонском языке, а с живыми пятью «томами» я с упоением упражнялся в немецких разговорах, вызывая у них весёлый смех своими ошибками, частым смешиванием *der* и *das*.

С Мартной, после моего отъезда из Дерпта, я несколько лет поддерживал изредка дружескую переписку и один раз виделся с ним. Это было в 1911 г. на Дрезденской гигиенической выставке. Мартна жил тогда в Германии, в эмиграции; он вынужден был оставить свою родную Эстонию, в которой осталась его семья, и укрыться за границей от преследований русских властей. Мартна и тогда был, как всегда, энергичен, бодро переносил своё вынужденное изгнание и очень интересовался видами на лучшие времена в России. На меня Мартна производил впечатление оригинального, незаурядного, самостоятельно думающего человека.

Сильнейшее впечатление произвёл на меня грандиозный национальный эстонский слёт певческих народных организаций. Он был проявлением необыкновенной организованности и единства эстонцев. Проходил он в Дерпте. Стремясь ослабить немецкое влияние на эстонцев, царское правительство допускало в остзейских губерниях то, чего оно не разрешало ни в какой форме в коренных русских губерниях. В эстонских сёлах и волостях допущено было объединение эстонского населения в певческие союзы, и был разрешён съезд этих обществ. Он стал положительно величавой манифестацией национального эстонского самосознания. Позднее, в советский период, мы привыкли к большим народным манифестациям, к шествиям со знамёнами профессиональных союзов и всякого рода других организованных объединений граждан. Но в то время во всей России были

абсолютно запрещены всякие шествия, кроме крестных ходов и несколько сот певческих обществ, каждое из которых шло под своим знаменем, а все вместе представляли эстонский народ.

В годы клинической подготовки в прежнем Дерптском университете до его преобразования в Юрьевский и подчинения общему уставу русской бюрократизированной высшей школы, большую роль играли частные, за особую плату по соглашению с группами участников, практические занятия и курсы лекций отдельных профессоров или их ассистентов, а также доцентов и приват-доцентов. От обязательных курсов и практических занятий эти частные курсы отличались тем, что в каждом из них число участников было очень ограниченным. Каждый учащийся по несколько раз под контролем проделывал изучаемые приёмы исследования, приготовления препаратов, производство операций. Три года я не пропускал ни одной лекции, ни одной операции у профессора Вильгельма Коха, смелого искусного хирурга. Но, разумеется, я больше усвоил понятий о некоторых приёмах при операциях из кратковременных курсов ассистентов Коха — Минца, Боля и доцента Блюмберга, которые за особую плату проводили свои частные занятия, стараясь на них подойти с особым вниманием к каждому студенту. Специализировались по хирургии приехавшие вместе со мною из Москвы А. А. Греков, Ф. В. Берви, А. В. Мартынов, работая добровольными помощниками у профессора госпитальной хирургической клиники Цеге фон Мантейфеля.

Доцент Штадельман, преподававший во «внутренней» клинике профессора Унфервихта общую диагностику болезней и обучавший овладению и пониманию способов пальпации, простукивания и выслушивания, на частном курсе (за довольно высокую плату) научил меня за две или три недели, наконец, добросовестно отдавать себе отчёт об особенностях выслушиваемых шумов и хрипов, бронхиального и вазокулярного дыхания и пр.

Большое удовлетворение дало мне участие в частном курсе по патанатомии у профессора Тома. Волей-неволей, ввиду персонального внимания профессора к каждому участнику, приходилось усвоить приёмы изготовления препаратов, знать основные из них и уметь их различать.

Разумеется, такие специальные курсы и циклы возможны только при относительно незначительном числе студентов на курсе: не 400–600, а предельно 100–150 в одном году обучения (т. е. не более 600–1000 на всём медицинском факультете). Непременным условием является при этом хорошее обеспечение кафедр и клиник помещениями, лабораториями, ассистентами и приват-доцентами и всякого рода оборудованием. Самостоятельность студентов в выборе времени для участия в специальных циклах, многократно повторяемых в один и тот же семестр, в выборе преподавателя и вообще свобода преподавания и вносимые ею существенные поправки к курсовой системе построения медицинского преподавания являются, конечно, очень важной предпосылкой для успеха всей системы медицинского образования.

Хорошо поставлены были лекции по глазным болезням профессора Рельмана с постоянной демонстрацией большого числа больных. Рельман был прекрасным лектором. Он очень интересно обставлял свои лекции.

Несколько студентов, по списку, приглашались исследовать отобранных из числа явившихся на приём больных и доложить о них в конце лекции профессору перед аудиторией. При этом каждый студент должен был офтальмоскопировать больного, исследовать состояние рефракции и состояние дна глазного яблока. Выслушав доклад, профессор сам осматривал больного и анализировал ответ и диагноз, поставленный студентом. Бывало так, что студент докладывал о состоянии рефракции и дна глазного яблока левого глаза, а профессор Рельман, при громком смехе всей аудитории, вынимал у больного искусственный протез из левой глазницы, в которой совсем не было никакого глазного яблока. Таким образом, студент докладывал не о том, что он видел при исследовании, а о том, что мог бы увидеть по описаниям в учебнике.

Предпоследний семестр, уже после того, как студентами были закончены занятия в большинстве клиник и получены по ним зачёты, в основном посвящался работе в поликлинике. Прослушав курс лекций профессора Дегио, студенты получали для посещения на дому больных, по вызовам, поступившим в поликлинику, определённый участок города или чаще всего определённую улицу. Население так и называло такого студента — «Strassen-Doktor» (врач улицы). Посетив по вызовам заболевших, студент либо делал определённое назначение, либо в более трудных случаях обращался за советом или вызывал к больному ассистента, доцента или даже просил самого профессора Дегио навестить больного. Я лично помню, что посетив на дому тяжело больного ребёнка, я заподозрил у него туберкулез. Очень встревожившись состоянием больного, я, минуя ассистента, прямо зашёл на дом к профессору Дегио и просил его посмотреть моего пациента. Профессор тотчас же отправился со мною и внимательно исследовал заболевшего. К моему огорчению, диагноз мой был подтверждён. После многократных моих посещений, ребёнок, к неутешному горю родителей, погиб.

Каждое поликлиническое занятие у Дегио открывалось кратким сообщением студентов о больных, переданных им поликлиникой, и обо всех новых заболеваниях на их улицах, ставших им известными. На отдельных заболеваниях, особенностях их течения и мерах их лечения, профессор Дегио останавливался более подробно. Часто по его указанию студент должен был показать своего больного на поликлиническом занятии.

Заслугой профессора Дегио было то, что он всегда большое внимание обращал на социально-бытовые условия, в которых жили заболевшие, и старался выяснить и показать связь заболевания с влиянием обстановки жизни и быта, с социальным положением данного слоя населения. Запросы населения к своему «уличному врачу», т. е. поликлиническому студенту, доверие к нему больных заставляли студента прилагать все усилия, чтобы оправдать это доверие, воспитывали в нём чувство врачебной ответственности. По себе знаю, что за все клинические годы я не работал так много со всякого рода медицинскими справочниками и руководствами по специальной патологии и терапии, как в поликлинический семестр, в связи с необходимостью определить диагноз у вновь заболевшего и остановиться на назначении рационального лечения. Впервые профессор Дегио свои-

ми лекциями привлёк моё внимание к значению правильной организации всей системы врачебной помощи массам населения, системы своевременного обнаружения заболеваний и надлежащей организации помощи заболевшим.

Окончательный врачебный экзамен я сдавал в 1894–1895 учебном году. До этого времени оканчивавшие медицинский факультет, в зависимости от результатов экзаменов, получали либо звание докторантов с правом защищать диссертацию на степень доктора медицины, либо, при получении по некоторым предметам троек, оканчивали со званием врача. Раз не было надобности стремиться во что бы то ни стало получать по всем предметам высшие отметки, дело с экзаменами у меня упрощалось, хотя всё же по некоторым предметам понадобилась упорная работа для того, чтобы считать себя вправе идти на экзамен. Никаких «клязур» в конце экзаменов писать нам уже не было надобности. До этого года все оканчивавшие докторантами должны были написать на латинском языке небольшое сочинение на заданную тему. Их запирали каждого в отдельной комнате в третьем этаже главного здания университета. Там, получив свою тему, студент оставался запертым на замок до тех пор, пока не заканчивал свою работу. В коридоре дежурили педели. «Латынь из моды вышла ныне», — писал ещё Пушкин. Но докторанты писали каждый свою «клязуру» на достаточно удовлетворительной латыни. Искони установилась для этого вполне эффективная техника. Десятки лет она оставалась неизменной и не вызывала никаких посягательств на неё со стороны недремлющего ока начальства.

Из оконной форточкой «заключённый» спускал на нитке тему. Все темы разносились немедленно, в зависимости от их содержания, по квартирам, где дежурили «опытные» в данной специальности студенты и были к их услугам все необходимые справочники, руководства и записи лекций. Быстро изготовливалась на немецком языке соответственная работа. Она «фуксами» (младшими студентами) тотчас же передавалась на квартиру, где собран был синедрион знатоков (относительных!) латинского языка. Разумеется, к их услугам были словари и типовые образцы готовых клязур. Это было делом чести — помочь в кратчайший срок «заключённым». Поэтому латинское оформление клязур делалось незамедлительно. Я слыл заведомым знатком латыни (золотая медаль Нежинской гимназии!) и мне раза два выпадала честь дежурства в комнате по латинскому оформлению клязур. Переписанная на тонкой бумаге, готовая клязура на латыни технически надёжными путями поступала в руки заключённого и им использовалась.

По окончании экзаменов, обычно один–два семестра (иногда, разумеется, и больше) уходило у докторанта на написание докторской диссертации и на постановку и производство необходимых для неё предварительных экспериментальных работ.

Назначение в 1891 г. вслед за отъездом из Дерпта профессора Э. Крепелина¹ на кафедру психиатрии профессора В. Ф. Чижа было первой ласточкой начавшейся через год или два усиленной русификации медицинского

¹ Крепелин Эмиль (1856–1926) — немецкий психиатр, основатель научной школы. Создал современную классификацию психических болезней.

и других факультетов Дерптского университета. Вслед за Чижом последовало назначение вместо занимавшего до этого времени кафедру внутренних болезней крупного клинициста Унфервихта — одного из ассистентов известного московского терапевта академика Захарьина¹ — профессора Васильева, а затем вместо профессора Кистнера на кафедру акушерства и гинекологии — профессора Губарева из Москвы. Оба не отличались ни внешней академической культурой, ни учёностью. Однако моя клиническая подготовка протекала ещё в период до перехода руководства клиниками и клиническим преподаванием к вновь назначенным профессорам, тем более что последние, как, например, Губарев, после назначения надолго уезжали для подготовки в Германию. Только работа в психиатрической клинике и слушание клинических лекций по психиатрии протекали уже после отъезда Крепелина у заменившего его профессора Чижа.

С конца 1893 г. Дерпт был переименован в Юрьев, а Дерптский университет, соответственно, в Юрьевский. С этого времени было окончательно прекращено приглашение русским правительством для занятия кафедр в университете выдающихся учёных из-за границы.

Крепелин имел крупное имя в науке, и назначение на его место мало кому известного Чижа было встречено в Дерпте с неодобрением не только среди старой немецкой профессуры, но и среди русского медицинского студенчества. Хотя назначение Чижа состоялось ещё в 1891 г., но фактически к заведованию психиатрической клиникой и чтению лекций он приступил лишь год спустя. Престиж свой он с самого начала старался поднять в глазах немецкой публики тем, что стал писать своё имя на табличке на дверях своего кабинета и на своих визитных карточках по-немецки, с прибавлением «фон» — Woldemar von Tschisch. Часто можно было видеть его в городе на прогулке верхом на лошади, с длинным хлыстом в руках, как это было принято у немецких баронов. Может быть, он и имел свои научные заслуги и некоторые положительные качества, как лектор и руководитель кафедры, но мало могли способствовать его учёной репутации манеры его самовосхваления и подчёркивания своей особой способности к психиатрической интуиции. Вспоминаю, как он на лекции «скромно» утверждал, что он не может сам себе объяснить, как это происходит, но когда к нему входит больной, он сразу же безошибочно ставит диагноз эпилепсии и некоторых видов психоза.

В тот семестр, когда я слушал лекции профессора Чижа, посмотреть на первые успехи русификации Дерптского университета приехал известный реакционер, министр просвещения при царе Александре III — Делянов². Ожидая его прихода на лекцию, Чиж подготовил в аудитории для демонстрации больных прогрессивным параличом. Когда Делянов со своей сви-

¹ Захарьин Григорий Анатольевич (1829–1897) — терапевт, основатель московской клинической школы, почётный член Петербургской АН (1885). Усовершенствовал метод сбора анамнеза.

² Делянов Иван Давыдович (1818–1898) — граф, министр народного просвещения. Добивался ограничения автономии университетов и женского высшего образования.

той вошёл и уселся в аудитории, Чиж, как бы продолжая лекцию, утверждал, что среди русского духовенства он не знает случаев заболевания прогрессивным параличом, так же как и табесом¹, — и это вследствие, разумеется, высоких духовных и моральных начал самой православной церкви, а также потому, что ранний брак при самом получении сана и паствы исключает среди русского духовенства самую возможность заболевания люэсом², на почве которого могла бы возникнуть опасность прогрессивного паралича. Министр, конечно, не мог не отнестись одобрительно к такому освещению проблемы на лекции.

У меня, как и у многих других слушателей, оставалось иногда впечатление, что профессор Чиж любил придавать театральность для усиления впечатлений от его лекций. Однажды, во время занятий, в аудиторию на особой коляске родители внесли свою дочь. Они привезли её из Варшавы, прослышав об исцелении профессором Чижом таких больных, как их дочь. После перенесённого мышечного ревматизма девочка потеряла способность двигаться и уже много лет не вставала, не могла сесть и т. д. Перед всей аудиторией Чиж заявил внушительно, осмотрев больную, что, хотя пациентку уже возили и в Берлин, и в Бреславль безуспешно, он излечит её полностью в один месяц, и она, не способная сейчас ни сесть, ни повернуться, через месяц будет не только ходить, но и плясать. Это был случай тяжёлой истерии, и спустя несколько месяцев больная была приучена садиться и вставать.

Последнюю весну и лето моей студенческой жизни (в 1895 г.) я не уезжал из Дерпта, посвятив их, главным образом, работе у профессора А. Раубера по изучению анатомии и гистологии мозга. Ежедневно с 8 часов утра и почти до вечера я оставался в анатомикуме, пользуясь всеми возможностями для познания беспредельно сложной структуры самого важного органа человеческого познания, какие предоставлялись Раубером в его кабинете. Неизменно в 10 часов появлялся Раубер, после прогулки со своим маленьким сыном. На стереотипный вопрос: «Wie geht's?» (Как дела?) я излагал всякие мои сомнения, подробно рассказывал о встреченных трудностях в понимании некоторых указаний и описаний в специальном томе его руководства, посвященном изучению мозга. Один раз, проверив повторно на препаратах имеющееся в руководстве Раубера соответствующее описание, я пришёл к выводу об ошибочности этого описания и несовпадении его с не вызывающими сомнения данными препарата. Раубер внимательно выслушал, затем присел, занялся проверкой и в заключение заметил, что, вероятно, мною допущена какая-то ошибка, нужно её найти. Несколько дней он к этому вопросу не возвращался. Довольно много времени спустя он совершенно неожиданно после своего «Как дела?» сказал: «Да, вы правы, у меня в учебнике действительно допущено ошибочное утверждение».

В октябре пришла очередь мне сдавать окончательный последний экзамен у Раубера. Он, почти не спрашивая меня, поставил отметку. Когда я уходил, он осведомился, каковы мои дальнейшие намерения, и выразил

¹ Хроническое заболевание нервной системы, поражение спинного мозга, позднее проявление сифилиса.

² То же, что сифилис.

удивление, услышав в ответ, что я собираюсь попытаться работать в одной из петербургских больниц, чтобы получить необходимый для врача практический опыт. «Зачем же вы так усердно работали летом «по мозгу»? — спросил профессор. — «Мне хотелось хотя бы в общих чертах узнать, что считается установленным в наших знаниях о самой сложной и важной части человеческого организма», — ответил я. Больше мне не пришлось видеть Раубера, оставившего у меня впечатление своеобразного, оригинального, упорного научного исследователя и мыслителя в своей области.

Мои воспоминания о дерптском периоде жизни были бы неполны, если бы я не сказал несколько слов о замечательном по душевному благородству, цельности и устойчивости человеку — Вере Тихоновне Андреевнине и её воспитаннице Марье Ивановне Вебер, с которыми я познакомился ещё в первые годы моей учёбы в университете и на квартире которых жил последний дерптский семестр.

Вера Тихоновна (W. von Andrejanow) была спокойной, уравновешенной старой дамой, возраста значительно более 80 лет. Она получала пенсию, но этой пенсии, очевидно, не хватало на поддержание того достаточно скромного, но уютного уровня жизни, который она вела. Всё хозяйство держала в своих руках её приёмная племянница — эстонка по происхождению, воспитанная Верой Тихоновной в правилах немецкой культуры, — Frä. Weber. По бюджетным соображениям, так как всё равно приходилось держать кухарку, служившую в качестве одной прислуги, семейным столом обычно пользовались два-три русских студента. Вера Тихоновна, несмотря на своё имя и чисто русскую фамилию, говорила только по-немецки, хотя и понимала русскую речь. Марья Ивановна совсем не знала русского языка. В период, когда я старался овладеть немецким языком, я по рекомендации одного из русских студентов несколько месяцев обедал у этих дам. Я научился бегло понимать удивительно отчётливую, ясную и плавную разговорную речь Марьи Ивановны.

Одну из комнат своей квартиры старухи сдавали. Обычно жил в ней кто-либо из более состоятельных русских студентов, так как комната сдавалась со всей обстановкой, с отоплением, обслуживанием и утренним кофе, как в пансионах. Несколько лет эту комнату занимал М. П. Косач. В последний семестр моего пребывания в Дерпте жил в ней, после отъезда Косача, я.

Вера Тихоновна, по старости и общей слабости здоровья, очень редко выходила из дома. Весь день она проводила за чтением книг философского содержания. Она глубоко знала мировую литературу. Будучи глубоко религиозным человеком, она в то же время была достаточно образована в современном смысле, чтобы не придавать значения обрядовой стороне, и с вниманием и полной терпимостью выслушивала самые далёкие от всяких религий и верований суждения о развитии человеческого общества, человеческой культуры, мысли, научного и философского миропонимания. Прежде всего, ценила она в людях правдивость, искренность и способность отстаивать правду и право стоять за угнетённых, за находящихся в нужде, подвергшихся несправедливости и произволу. Поэтому Вера Тихоновна, сожалея о безбожии (атеизме) русских революционно-демократических писателей и деятелей, относилась к ним с глубокой симпатией и уважением.

Со мной Вера Тихоновна очень любила беседовать на философские темы. Меня интересовало полное отсутствие у неё страха или какой-либо тревоги от предстоящей близкой смерти. Её занимала при этом лишь мысль, как устроится без неё жизнь Марьи Ивановны. Та была совершенно чужда забот о своём благополучии. Она давно уже вышла за пределы того возраста, когда, быть может, у неё появлялись мысли о личной жизни. Теперь она полностью была поглощена (кроме домашнего хозяйства) работой по организации помощи бедным семьям, их детям и больным. Изю дня в день она много времени тратила на посещения на дому осиротевших и больных детей, на поиски средств и возможностей для оказания им материальной помощи. Она хорошо, до мелочей знала обстановку, условия и нужды вставших в бедность семейств, она видела причины особенно острой нужды — болезнь или пьянство кормильца, нехватку нескольких рублей на покупку сапог, взамен износившихся, сырость и холод в жилищах вследствие отсутствия топлива, которое нужно безотлагательно купить. Марья Ивановна так близко принимала к сердцу все эти индивидуальные беды, страдания и нужды, так остро их чувствовала, что все её мысли были заняты только конкретными отдельными случаями. Все мои рассуждения и обобщения, выдвигавшие общие социальные причины и направленные на содействие скорейшему росту классового самосознания и формированию тех сил, которые способны устранить общие социальные причины всех конкретных бедствий трудовых слоёв населения, ни в какой мере не устраивали Марью Ивановну. Всё равно ведь нужно было во что бы то ни стало добыть сапоги для мальчика, сына прачки «А»; всё равно нужно было ей во чтобы то ни стало помочь купить топливо для семьи «Б» и т. д., и Марья Ивановна, горячо принимавшая участие в послеобеденных моих разговорах, формально соглашаясь с правильностью обобщений и выводов об общих причинах и общих путях, оставалась на своих позициях и весь день металась в поисках помощи для живых, страдающих, близких ей по непосредственному общению с ними, эстонских семейств. Она не отделяла себя от них; она жила их желаниями, их надеждами и не преувеличивала значения крупиц той помощи и облегчения, которые иногда ей удавалось оказать. У неё совсем не было обычных отталкивающих черт дам-благотворительниц и патронесс. Её искренняя простота и отсутствие самоуспокоенности, постоянное сознание, что она также осталась брошенной сиротой и лишь случайно была взята на воспитание Верой Тихоновной, были подкупающими чертами её отзывавшейся на чужое горе и нужды природы.

Вера Тихоновна вызывала во мне чувство уважения, живого интереса и отклика в душе и сознании своим спокойным философским отношением к сознаваемому ею вполне реально в каждый момент неизбежному концу её жизни. Было у меня какое-то безотчётное чувство своеобразной дружбы и привязанности к этой умной, спокойно взирающей на жизнь и стоявшей у её предела старухи, с таким доброжелательным вниманием и участием слушавшей мои мысли о предстоящих исторических неизбежных массовых движениях и общественных переворотах.

После окончания Дерптского университета, когда я жил в Новой Ладоге, сколько помню, зимою 1896–1897 гг., я узнал из письма Марьи Ива-

новны о смерти Веры Тихоновны. Я помнил постоянную тревогу и заботу Веры Тихоновны о том, как устроится без неё жизнь Марьи Ивановны, и, посоветовавшись с А. В. Мартыновым, который, так же как и я, хорошо знал обеих женщин, написал М. И. письмо с предложением приехать в Новую Ладугу и занять место заведующей хозяйством (или кастелянши) в земской больнице. Она уклонилась от этого, предпочтя остаться в Дерпте и помогать своим эстонским клиентам.

Прошло много десятков лет после окончания мною университета в Дерпте-Юрьеве. И вот сейчас, набрасывая эти воспоминания о своеобразных условиях быта и обстановки, происшествиях и событиях, да и вообще, обо всем содержании моей жизни того периода, испытываю желание увидеть и старый Дерптский парк «домберг», в котором разбросаны там и сям университетские здания — анатомического института, глазной клиники и клиники внутренних болезней, университетской библиотеки и патологического института, и обсерватории, где несколько ночей провёл я с моим другом Швабе, с непередаваемым восторгом созерцая в телескоп кольца Сатурна или гористый пейзаж Луны. Хочется осмотреть старое здание университета, Ратушу и Рыцарскую улицу. Так хотелось бы увидеть, каким стал новый Тарту, занявший то место, которое ему по праву и по историческому долгу принадлежит — место крупного центра науки и культуры Эстонии.